

ISSN 0130-3500

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1982

6



«Дорогие друзья! Вы — представители той части нашего великого народа, которой предстоит формировать завтрашний день страны. И вам более, чем кому-либо, небезразлично, каким он будет, этот завтрашний день. Не только для советских людей, но и для всего человечества...»

«Мир — не дар с неба, его сохранение и упрочение требуют повседневной и трудной борьбы. Вам, молодым, выпало счастье вырасти и жить в условиях мира, не зная бедствий войны. Надо дорожить этим, сохранить это драгоценное достояние».

(Из речи товарища Л. И. БРЕЖНЕВА
на XIX съезде ВЛКСМ)

10.335
1989/2

Ежемесячный литературно-художественный
и общественно-политический журнал



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

Издается с июня 1957 года

СОДЕРЖАНИЕ

МУХРАН МАЧАВАРИАНИ. Проветай, Грузия! 3

ПОЭЗИЯ

РЕВАЗ МАРГИАНИ. Стихи. Перевод Ирэны Сергеевой 8

РЕВАЗ АСАЕВ. Стихи. Перевод с осетинского Николая Лятошинского и Галины Павловской 59

ВЕРА КИРЕЕВА. Стихи. Вступительное слово Елены Николаевской 147

ПРОЗА

ОТИА ИОСЕЛИАНИ. Черная и Голубая река. Роман. Продолжение. Перевод И. Борисовой 10

МИХАИЛ ЛОХВИЦКИЙ. Вьюга. Фрагмент из романа 62

ГУГУЛИ ТОГОНИДЗЕ. Сказки. Перевод Тамары Шамиль 99

ЛИЯ ТИХОНОВА. Зарисовки с природы 108

6

1982

ЭЛИЗБАР УБИЛАВА. Хранитель сокровищ. Документальная повесть. Продолжение. Перевод А. Маргвелашвили



КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- На переднем крае литературы. (Обсуждаются проблемы романа) 157
- ГУРАМ АСАТИАНИ. Нико Лордкипанидзе (К 100-летию со дня рождения) 189

К 60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

- ВИТАЛИЙ ШАРИЯ. Теплый источник. Очерк 206

ИСКУССТВО

- ВЛАДИМИР ЕРЕМЕНКО. Тайна искусства 213

-
- Памяти Александра Кутатели 220
- Памяти Лавросия Каландадзе 221

- ХРОНИКА 222

старого Тбилиси, уважение к наследию наших великих предков, чуткое отношение к интеллигенции, право открыто говорить о теневых сторонах нашей жизни — вот то, что ныне духовно возвышает, вселяет веру в будущее и вдохновляет грузинский народ на грядущие свершения.

Эти прекрасные начинания завтра должна развить и продолжить наша молодежь. Молодым предстоит оценить и проанализировать все, что мы делаем сегодня. И мы должны приложить максимум усилий, чтобы воспитать молодежь, которая, опираясь на заложенный нами фундамент, сможет довести наши начинания до уровня общечеловеческого прогресса.

Огромная ответственность ложится сегодня на школу, литературу, науку и искусство. Нравственное формирование человека начинается, как говорится, с колыбели, очень важно в воспитании подростка с самого начала не допустить серьезных ошибок.

Мне кажется неоправданной та огромная значимость, которая придается аттестату об окончании средней школы при поступлении в высшее учебное заведение. Правда, по этому поводу уже не однажды высказывались обоснованные суждения, опирающиеся на серьезные научные исследования, однако до сих пор этот наболевший вопрос почему-то не решен должным образом. Этот эксперимент имел в теории свое позитивное начало, но на практике верх взяла негативная сторона.

Человек с молоком матери впитывает в себя родной язык, изучение его, забота о его чистоте — основная задача нашей школы. Этим продиктовано специальное постановление Центрального Комитета Компартии Грузии и Совета Министров Грузинской ССР об изучении грузинского языка и литературы в учебных заведениях республики и мерах по его улучшению.

Однако, коль скоро мы действительно хотим проявить заботу о развитии и обогащении нашего языка, необходимо в связи с этим знаменательным постановлением вспомнить слова Якова Гогешашвили:

«Изучение в школах родной литературы, знакомство со стихами и прозой позволяет учащимся усваивать лишь одну сторону родного языка. Другие же его стороны остаются неприкосновенными и потому забыва-

ются. Язык, на котором не существует науки, долго не проживет, даже если на нем пишется огромное количество стихов и прозы. А наука на том или ином языке возникает тогда, когда на этом языке ведется изучение предметов во всевозможных учебных заведениях».

Когда замечательный грузинский педагог писал эти слова, обучение в школах Грузии велось на русском языке. Сегодня в наших школах все предметы преподаются по-грузински. Но что это за грузинский!

Большинство учебников (истории, географии, химии, физики, математики и других) — переводные. Но не это главное! Дело в том, что перевод выполнен безобразно, неуклюже; язык перевода настолько затемняет мысль, что ее не в силах понять не только учащиеся, но и специалисты. Такой учебник не соответствует своему назначению ни с точки зрения языка, ни для приобретения знаний, а что самое дурное, — он вызывает у учащихся отвращение к предмету.

«Прошлое — основа настоящего, так же как и настоящее — основа будущего», — говорил Илья Чавчавадзе. «История расширяет мировоззрение человека, делая его более глубоким и фундаментальным», — говорил Иванэ Джавахишвили.

Можно ли считать полноценной личностью того, кто не знаком с прошлым своей родины? Неужели борьба наших отцов и дедов в прошлом недостойна того, чтобы их дети и внуки знали, какой кровавой ценой защищались родные святыни?! А откуда же им знать, если мы не будем их этому учить? К тому же, что преподается в средней школе в качестве истории Грузии, все-речь относиться нельзя.

Не забудем же, что наш сегодняшний день в недалеком будущем тоже станет историей. Что же будет, если представить себе, что наши потомки будут рассказывать своим детям о кипучей сегодняшней жизни столь же убого и невнятно?

Можно без всяких скидок сказать, что в нашу литературу пришла действительно талантливая и образованная молодежь. Единственное, чего, быть может, молодым недостает, — это опыта. Поэтому они иногда стоят на распутье. Именно здесь и требуется объективная критика, которая с четких позиций убедительно и

доказательно направит творческую молодежь по верному пути.

Незачем скрывать, что в определенный период нашей жизни были допущены непростительные ошибки, которые породили в нашей общественной жизни опасный моральный недуг, на исцеление от которого сейчас брошены немалые духовные силы. Известно, что болезнь вторгается в организм быстро и легко одолевает его, лечению же необходимо время.

В этом отношении трудно переоценить роль литературы и искусства. Не только роман, фильм, спектакль или поэма в целом, но даже один эпизод фильма, строка стихотворения, если они отмечены печатью подлинного таланта, способны оказать серьезное влияние на взгляды человека, особенно формирующегося.

Для развития и обогащения грузинского языка необходима большая переводческая работа. Сейчас в Грузии переведено лишь десять-пятнадцать процентов из шедевров мировой литературы. И это в наше время, когда мы имеем столько специалистов, способных переводить непосредственно почти со всех языков!

Как большую заслугу руководства нашей республики мы воспринимаем созданные по его инициативе Коллегию по делам художественного перевода, а также альманах «Саундже»; и коллегия, и альманах сегодня успешно справляются со своими задачами.

Мы должны переводить много, переводить хорошо, квалифицированно, профессионально. Но ведь для этого необходимы словари! Тем более, что от уровня развития лексикографии непосредственно зависит уровень развития и обогащения языка.

Плохи ли, хороши ли, однако у нас есть русско-грузинский словарь, восьмитомный «Толковый словарь грузинского языка», «Словарь древнегрузинского языка», несколько диалектных и отраслевых словарей; поистине огромное значение имеет для нации выход Грузинской Советской Энциклопедии, но просто удивительно, что до сих пор мы не имеем объемистого, содержащего большое количество слов грузинско-русского словаря, а также армянско-грузинского, персидско-грузинского, турецко-грузинского, греческо-грузинского, арабско-грузинского, абхазско-грузинского, испанско-грузинского, итальянско-грузинского словарей.

Многовековая история нашего народа в течение очень продолжительного периода развития нашего языка была тесно связана с историей народов, говорящих именно на этих языках, и, независимо от характера этих связей, именно с этими народами находилась в тесных контактах жизнь и деятельность наших предков, — даже одного этого обстоятельства достаточно для того, чтобы задуматься над созданием таких словарей!

Был у нас один благословенный богом человек — Сулхан-Саба Орбелиани, который создал великолепный словарь — один человек! И сегодня, когда у нас столько институтов, столько замечательных ученых, разве не должно быть это историческое деяние если не свершено, то, по крайней мере, хотя бы начато?

Впрочем, то обстоятельство, что мы, говоря о наших достижениях, не забываем отмечать и недостатки, от которых мы еще не свободны, вселяет в нас уверенность, что в будущем дело будет спориться.

Успехи всегда радуют.

Давайте же бережно относиться к нашим завоеваниям, множить их впредь, чтобы процветала наша прекрасная родина, ее женщины и мужчины — от мала до велика, ее горы и долины, воды, виноградники, пажити, ее полные марани и квеври, то, что уже добыто и открыто, и то, чему еще суждено свершиться.

ЗИМА УХОДИТ

Нынче снег, снегопад... А завтра
он сильнее повалит с неба.
Не затронет меня этот снег марта, —
не забыть мне иного снега.

Нынче снег, земля — снеговым кругом,
а кругом тишины царство.
Снег кладет за ворот прохладную руку
и к глазам прикладывает лекарство.

Снегопад... Любит снег грустно падать.
Он ко мне подбирается.
Облаков приходит ленивое стадо,
и светло-светло смеркается.

Так зима хвостом машет в марте,
март крыло свое отряхает...
Не до снежного мне азарта:
почему-то грусть не пускает.

* * *

Сияние, далекое сияние
мне глазам прибавило сверкания.
Свет рождает свет... Как на аркане я
детства своего воспоминания.

Сияние, далекое сияние...
Огоньку лучины нет названия.
Детство мое чистое, лучистое,
там лучина рассыпалась искрами.

Вновь ребенок я. И мгла распорота
(огонек живой, — смеюсь я весело).
А с балконов, с башен искры скорые
с факелов летят, их мгла развесила...

Сияние, далекое сияние
кажется светлей на расстоянии.
Детство вдалеке — тепло безмерное,
и лучина в нем — как ласка первая.

ТОЛЬКО С ЛЮБОВЬЮ

Только с любовью одною роднись,
с думою доброй,
что согревает нас. Не обожгись! —
солнцу подобна.
Вспыхнет ли ненависть в голосе чьем —
не поддавайся,
тихо беседовать с добрым ручьем
ты постарайся.
Только с любовью одною роднись,
ей отвечая.
Помни: сердца, устремленные ввысь,
радость венчает.
Выкорчуй корень ненависти,
как скорпиона.
Рядом поставить злобу и стих
разве законно?..

Перевод Ирэны СЕРГЕЕВОЙ

Черная и Голубая река

В ПОЛНОЙ тьме они остановились на аробной дороге, пролегающей посреди болот и хлебов.

Был объявлен привал на двадцать минут.

— Мочи нет, так устал, — твердил Бокерия, — либо дух дайте перевести, либо сразу в могилу, воля ваша, а мне все равно.

Цинцадзе даже ответить не мог, и его молчание новой тяжестью навалилось на Автандила, потому что ни человеку, ни богу до него больше не было дела.

Как с одного доброго взмаха хорошо наведенной косы валится справа налево высокая трава, так с одного конца колонны до другого повалились на землю эти две тысячи человек, от командира, хлебнувшего на своем веку солдатского лиха, до Бокерия, которому в пятку впивался гвоздь, и ему казалось, что от гвоздя этого здоровый бы пень треснул.

Продолжение. Начало см. в № 5.

Траву в этом месте еще не совсем вытоптали, и кого где команда застала, так он и повалился на землю лю.

Мамука лег ничком. Ему хотелось обтереть о траву лицо с вьезшейся в него пылью и потом и втянуть в себя влажный запах земли, отсыревшей от вечерней росы.

Мамука отполз от Цинцадзе и словно гончая, взявшая след зайца, потянулся в поле, где трава была вовсе не тронута, и распластался на земле в трех шагах от дороги.

Он уже так отупел, что его не мучило больше, что Тэкла с горя тронется разумом и что сам он не мог понять, кому и чего от него было надо и почему такой же, как он, совсем юный немец, подняв на нас руку, бросил в Германии у себя немецкую свою Тэклу и немецких своих Русудан, Парну, братьев, дядю и бабушку. Воображение его занимал один Ношреван, который вдруг так переменялся, что, казалось, ему все нипочем. Он вышагивал как ни в чем не бывало, таща вещмешок раза в два тяжелее Мамукиного. Бокерия от усталости падал с ног, крепыш Цинцадзе был совсем на исходе, как и светловолосый русский парень, что шел впереди, а сзади азербайджанец тоже еле ноги волок, но каким духом держался Ношреван — это поглощало Мамуку не меньше, чем тоска по Тэкле и тревога за Маргариту Алхазисвили, которая после прощания на тбилисском перроне завладела его мыслями столь же властно, как Тэкла.

Говоря откровенно, ни Мамуке, ни Тэкле Маргарита не нравилась, хотя и певица она ничего, и мать их лучшего друга, и хозяйка такого дома. Ведь, в конце-то концов, с ее позволения непутевые друзья Ношревана превратили эту малодоступную крепость в место сборищ, где они что хотели, то и творили. Это было странно для женщины скрытной, надменной, может быть алчной, для которой, как многие думали, кроме званий, славы и денег, ничего цены не имело. И тут вдруг свершается чудо. В ту ночь, когда Ношревану пришла повестка на фронт, той Маргариты внезапно не стало — два часа жряду, проводив гостей, она с изумительной выдержкой хоронила самое себя, и в течение этого времени ничья сила не могла бы за-

ставить ее выйти из комнаты. На другой день, когда их провожали, она стояла на перроне вокзала, будто полое дерево, все — сплошное дупло от корней до макушки, — и единственное, что могло это стоя иссохшее дерево, — препоручить Ношревана Мамуке Амаглобели, которого в самую пору было доверить первому встречному, была б у того голова на плечах.

Что случилось, что открылось вдали этой женщине, иссушив ее вмиг изнутри?

Невозможно было даже представить, что, пройдя от станции два-три километра, Ношреван не рухнет на землю и его не придется тащить на себе. Мамука хотел забрать у него вещмешок, потом предложил поменяться, у Мамуки мешок вполовину был легче, что-то сунула тетка Ивлити — и все... «Я пойду к Тэкле, — сказал он тогда тетке, — а завтра от нее на вокзал. Вы на вокзал приходите», — кто мог думать, что на вокзал он отправится тут же? Ношреван, однако же, не пожелал ни отдать свой вещмешок, ни меняться. Только в вагоне, а после на дороге он то и дело стискивал руку Мамуки и, уже наклонившись к самому уху, опять не решался что-то сказать. Да и Мамуке было не до того, чтобы дознаться, чем терзается друг и не может сказать, подумавшись, какие заботы у Ношревана, трудно, конечно, ему, к трудностям он не привык, вот и томится, но все это сущий пустяк по сравнению с тем, что обрушилось на них с Тэклой.

И все же, уткнувшись носом в траву, он ждал, когда Ношреван подползет к нему со своим вещмешком и объявит что-то такое, отчего Мамука подпрыгнет, как мячик.

Снова прозвучала команда к подъему, но теперь уже не так резко, будто толстое стекло треснуло.


Друга Мамука обнаружил уже в строю, но что это был за строй! Ношреван опять схватил его за рукав, наклонившись к самому уху.

— Чего ты? — наконец Мамука очнулся в эту седьмую по счету ночь, а до этого ниточка мыслей? Тэкле ни на миг не обрывалась.

— Шагом марш!

— Зачем шагом? Почему не бегом? Или невмочь нам бегом? — проскулил Бокерия.

— А ты вперед ступай! — разрешил Цинцадзе.



— Точно! Пока доплететесь, я и выкупаю вас. И марафет наведу, — горестно пошутил Бокерия, вращая ногу, — хочу как на параде пройти, печатая шаг. но почему я не слышу звук чеканных шагов?

— Ты, главное, гляди гвоздь не потеряй! — предостерег Цинцадзе.

— Всю дорогу исползал, найду, думал, чем гвоздь забить, палец, окаянный, до кости изодрал, шлепаю босиком, а ботиночки — за спиной.

— Чего ж раньше-то не додумался?

— Да от боли хотел богу душу отдать.

— Ну, теперь ты спасен.

— Если со смеху не околею. Босиком по пыли и траве так щекотно, а попробуй засмейся, по кумполу трахнут, а головка моя мне еще ой как нужна.

— Да и я б тебе не советовал, — согласился Цинцадзе.

Набежал предрассветный холодок, и под его порывами прилипавшие к телу мокрые от пота рубахи стали колом, будто перекрахмаленные.

Уже никто не знал, куда они идут и сколько прошли по дороге или по тому, что когда-то считалось дорогой, по степи и по хлебным полям.

Уставши до изнеможения, умучившись до бесчувствия, они шли, и ноги у всех были сбиты, колени не гнулись, ломило в пояснице, в плечах, в голове и везде сразу, а конца дороге не было видно, но, поскольку всему есть предел, постепенно ломота и усталость стали глуше и вся тяжесть тела навалилась на плечи. Никто из них сам по себе не мог шагу сделать, колонна несла их, как тянет на поводьях худую и упрямую клячу упряжка лошадей, как несет быстрым течением набрякший чурбак. Скоро — на спуске, медленно — на равнине течет и несется этот поток, пока вовсе не станет или не выльется в море.

Но в Мамуке жила еще точка, где была боль. Как ни изведен он был, ни измотан ломотою во всех костях, усталостью, жаждой, его чувства и плоть смешались в одно, поглотили друг друга, — но не исчезла, не дала себя погасить та трезвая точка, в которой светилась Тэкла.

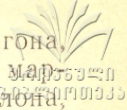
Шел седьмой день, как разлучен он был с Тэклой, нет, ни на минуту не разлучался он с ней, но был уже седьмой день, как он не видел ее, хотя она стояла перед глазами все время и он говорил с ней не умолкая, уговаривая и убеждая, что все это — на короткое время. Только на месяц, на один-единственный месяц. Тридцать дней и тридцать ночей. Очень много, конечно. Немыслимо долго, бесконечное время... Почему же все это случилось? Зачем? Для чего? — этого не знает никто, но — случилось.

Они все не знают, не знают, не понимают, что Тэкла с Мамукой родились друг для друга, им надо быть вместе, все время вместе, но чтобы быть вместе, не хватает чего-то еще, и разбросало их в стороны не потому, что кто-то хотел их разлучить. Напротив, их развело, чтобы сблизить, чтоб через месяц, когда они будут вместе, Тэкла больше не горевала, не ревновала и не изводила себя. Чтоб ни о чем, ни о ком не думала больше. Для чего-то, зачем-то их разлуке положено быть.

Об объяснял, он доказывал, как это все неизбежно, необходимо и нужно, в письмах, где не было ни начала, ни конца. Он записывал на клочках, он рассовывал эти клочочки по карманам, писал днем и ночью на остановках и на головокружительных перегонах. Писал и тогда, когда в однообразной вагонной тряске вдруг так тряхнет и о стены швырнет валявшихся на полу ребят, будто осерчавшая дюжая хозяйка вдруг встряхнет крупный помол в частом сите.

В кромешной тьме, съездившись над тетрадкой, раскрытой на полу, он выжидал скупые секунды между толчками вагона и писал, оставляя между косыми строками расстояние, и снова писал. Он уже высчитал, сколько строк помещается на тетрадном листке и сколько места надо оставить, чтобы снова начать: на странице помещалось семь строк, в каждой строке — по три слова, не считая союзов.

Поди разбери эти каракули, но та, для которой они писались, их прочла бы, пусть даже Мамука вообще не писал, а только ткнул бы карандашом в лист бумаги и на листке б сам себе обозначил тот путь, по которому их мчало с бешеной скоростью. В конце концов, одно это и оставалось — какая-то клино-



пись, нанесенная на бумагу в качке и тряске вагона, а зигзаги царапин — это и были мысли Мамуки, маршруты железных дорог и путь дребезжащего эшелона, они выплясывались на листке, как ломкая кривая температурных скачков при тяжелой болезни.

Но сегодня, на седьмой день, не удавалось и это. Сколько раз ни вытаскивал он тетрадь и сколько раз ни пытался на ходу, в темноте написать хоть две строчки, ничего из этого не выходило. Сначала он ждал темноты, к ночи они куда-нибудь доберутся, и, куда бы они ни пришли и как бы ни было трудно, пусть даже света не будет, — он рухнет на землю и будет писать, что ему хорошо, конечно же, все хорошо, и пусть Тэкла верит, что ему хорошо, потому что сегодня уже седьмой день и, значит, меньше осталось дней до тех пор, когда они будут вместе. Каждый час и минута лишь приближают их счастье... Он будет ехать поездом, на машине, идти пешком, и бежать, и ползти, будет рыть землю и плыть, конечно, он плавает плохо, переплыть их деревенскую речку он может вполне, но сейчас он переплывет широченные русские реки и озера, и даже моря; он все будет делать, что велят и что делать надо, потому что все дороги, шоссе и тропинки ведут к Тэкле и она все ближе и ближе к нему.

Он выдержит все, потому что это для Тэклы. Пусть душа ее будет покойна и не мается — ни минуты, ни даже секунды... пусть только считает дни. Один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой... В каждом дне пусть считает часы, в каждом часе — минуты, а в минутах — секунды. А секунды пробегают так быстро — за минуту до шестидесяти не считаешь.

И с мамой наладится. Они вместе поедут к ней. В Абастумани одной тебе ехать нельзя, слышишь, Тэк-ла? Что ты будешь одна там плутать? Война! С транспортом все изменилось. Все вообще изменилось. Ты лучше с бабушкой посиди, говори с ней почаще. За разговором время быстро летит. К соседям зайди, пошутят, у кого что, расскажут. Сейчас всем невесело, но люди есть люди, не могут они только плакать — и все.

А потом...

А потом... вот уже и вторая неделя пошла...
...Нет, не выходит писать на ходу. Еще три недели — как их прожить? Да-да, осталось всего три недели, одной уже нет. Вот-вот рассветет, и начнется вторая неделя, а первой не будет — ушла.

Нет, надо что-то придумать... Если этим течением его с такой силой будет дальше нести, он не сможет писать... Какой тогда толк?

А если вещмешок перекинуть на грудь? Не будет сзади болтаться. Когда их сгрузили возле станции, торчавшей, как гриб, и они пошли по дороге, Ношреван тащил вещмешок на груди... А что если и мне? Вещмешок — на грудь, тетрадку — на вещмешок, и пиши себе. Или что-то еще в этом роде придумать. Перекинуть ремень через шею, пусть болтается хомутом, на хомут — книгу, а на книгу — бумагу...

Что-нибудь, но придумать... бессловесно идти он не выдержит, он ей должен сказать... ведь с ума она сходит... А тосковать ни к чему. Разве Мамуке легко? Идут, ползут, плывут... сушь... жажда... жить невозможно, нечем дышать...

Как это вынести?

Поток свернул на дорогу, измолоченную арбами и машинами. Померкшее бесцветное небо опускалось на Мамуку, двоилось, слоилось, будто отраженное несущейся водой.

«Уже скоро деревня, а там мама, отец и река. Сеть прихватим, а если не брать... А может, сеть не нужна? Нет, нет, сразу на остров... На песок упаду, где ты лежала... И засну... Как бы ни было тебе одной скучно, не буди меня, Тэкла! Да и чего скучать тебе? Ведь я же буду с тобой! И посплю... Если захочешь что сказать мне — говори! Я услышу. Ты же слышишь меня вон откуда... А уж рядом с тобой я услышу тебя. Разве может быть так, чтобы я не услышал тебя?

А если к полудню станет жарко, очень жарко, ты наломай ивовых ветвей, Тэкла, и сделай из них либо зонт, либо веер, лишь бы тень... Дай мне только поспать... Я посплю... Но, конечно, не здесь. Здесь я глаз не сомкну, потому что мне надо к тебе торопиться, и когда я дойду... конца нет дороге — до тебя дойду, Тэкла, я посплю в наших ивах, возле нашей реки. К голубой реке повернусь, прямо к солнцу, — в тво-



их глазах было солнце. Я открою глаза, погляжу, опять спать. Сквозь веки все вокруг буду видеть, тебя буду видеть, тебя слушать и спать...»

Поток спустился в долину, ушел в плавни или, неведомо на что натолкнувшись, стал запрудой.

Все молчали, будто рты залепило илом. Справа молчал Цинцадзе, слева молчали Ношреван с Автандилом, впереди светловолосый русский парень, рядом с ним черный, сухопарый чеченец, за ними азербайджанец с изъеденным оспой лицом, и огненно-рыжий русский, украинец и меднолицый тучный туркмен.

— Это что же здесь делается?—возмутился Автандил, когда чищенный, мытый и очень довольный собой очутился среди ребят, валявшихся в пыли и навозе.— Они еще спят, стало быть, все тихо и мирно! — только тут он догадался, кого все это время ему не хватало.

Ношреван лежал, как прежде, свернувшись калачиком, щекой к земле, весь усыпанный муравьями, норотившими вползти ему в рот, когда он делал вдох, но передумывающими, когда делал выдох.

— Да помер никак! Вот бедолага! — Бокерия быстро перевернул Ношревана. — Эй, Ардадзе!

Испуганный Ношреван осоловело поглядел по сторонам и прикрыл лицо локтем.

— Что, немцы?! — его как громом ударило, когда, затарахтев мотором с сорванным глушителем, грузовик развернулся к складу задом, подставив кузов под разгрузку.

— Какие немцы! Девчат привезли! Спелые, как земляника...

До Ношревана дошло только про спелую землянику, он облизнул пересохшие губы, муравей, притаившийся над верхней губой, попал на язык, и бедняга, подпрыгнув, ногтями содрал с языка окаянную нечисть.

— Вы поглядите только, стоило мне о бабах слово сказать, он будто гончая вскинулся! — Бокерия глазам своим не поверил: этот тихоня Ардадзе, его любая — под каблучок... да он же помрет со стыда, если ветер у девки подол задерет...

— А-а-а! — с раскрытым от жгучей боли ртом Ношреван двинулся к Бокерия.

— А-а-а! — передразнил Автандил. — ^{Этого} ^{ничего} молодой человек! — он хлопнул его по плечу, подняв облако пыли, и отскочил: едва обретя человеческий вид, испугался измазаться снова. — Это все муравьи...

— Муравьи? — Ардадзе еще шире разинул рот. Невозможно было поверить, чтоб муравьи кусались, как волки.

— Муравьи, муравьи! Они тут здоровущие, я у нас таких не видал. А чего удивляться? Сколько проехали, страна вон какая огромная, — уверенно объяснял Бокерия, порыскав опять глазами по сторонам. — А где тот, что с тобой был?

— Мамука? — Ношреван мгновенно позабыл о муравьях.

— Куда он подевался? Он же промеж нас лежал?

— Лежал, точно, лежал...

— Может, Цинцадзе знает?

Цинцадзе по-прежнему лежал на спине, не шелохнувшись.

— Ладо! Ладо! — тормозил Ношреван, переполошенный исчезновением Мамуки.

Не разлепляя сомкнутых век, Цинцадзе тронул рукой густые усы, и бритый наголо и безусый Бокерия покосился на девушек из санчасти: гибель мне от его усов, на кого этот усатый глаз положит — с той, считай, нам делать нечего.

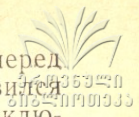
— Мамука! Ладо, где Мамука? — чуть не плача, вопил Ношреван, не давая Цинцадзе глаз протереть.

Цинцадзе спокойно поднялся, оставив в траве и навозе вмятину от литых плеч.

— Где ему знать? И что баб тут нагнали полон двор, он ведать не ведает, — Бокерия глядел на них сверху вниз, давая понять, что над женщинами он командир, что сомнений он тут не допустит и что Мамуку Амаглобели непременно надо найти, хотя кто за него отвечает больше — Бокерия или Цинцадзе, еще неизвестно.

Ношреван ползал среди спящих ребят, всех тормоша.

— Вот он где! — закричал Бокерия. — Каким чертом сюда его занесло?



И, перепрыгнув через канаву, пробежавшую перед аккуратной приземистой хаткой, Бокерия остановился над Мамукой, навзничь лежавшим на едва проклюнувшейся травке. Вслед за ним, подняв тучи пыли, подлетел Ношреван:

— Мамука!

— Ты, парень, подальше держись от меня, больно ты грязен, — Автандил оттеснил Ношревана.

— Мамука! Мамука! — радовался Ношреван, но Бокерия не подпускал его к другу.

— Вы поглядите, у него и книга за пазухой, — поразился Автандил, — если после вчерашнего он еще может читать, нам пора по домам, он один управится с немцем.

Бокерия не хотелось возвращаться туда, где в пыли и навозе валялись их вещмешки, а рядом с ними — Цинцадзе, и он присел возле Мамуки на пробивающуюся свежую травку.

С трудом поднявшись, Ладо отряхнул пыль со спины и, едва таща ноги, двинулся к ним.

— Ты чего, Автандил, говоришь?

— Чего говорю?! — прикинулся дурачком Автандил и поглядел снизу вверх на Цинцадзе. — Я тут много чего говорил.

— Про женщин каких-то?

— Про женщин был разговор, ну и что?

— А где они у тебя? В конюшне?

— В конюшню я тебя загоню, а женщин — на склад, как золото буду хранить.

— Ты, главное, особо не кипятись. Помаленечку силы трать, — посоветовал Цинцадзе, и тут взгляд его упал на женские ноги, возникшие за колесами грузовика. — Погоди, он, похоже, не врет.

— Да у меня таких тут навалом, — с беззаботностью миллионера Автандил лег на бочок, извлек папиросу и закурил.

— Ты что сказал? — не поверил своим ушам Цинцадзе.

— А, ничего... — и миллионер выпустил несколько колец дыма.

— Навалом? — растерялся Ладо, словно вор, который наострился стянуть кисет с золотом и обнаружил вдруг сундук с драгоценностями, но, быстро со-

образив, что Автандил не дурак, чтоб такой клад вы-
давать, окинул взором весь двор от края до края.

За длинной конюшней не было видно ни преизобилия
берега, где кучкой стояли женщины, и, успокоенный,
что клад схоронен надежно, затянувшись, Автандил
протянул пачку папирос незадачливому похитителю и
поднес спичку, все своим видом показывая, что он до-
волен собой, но утомился тащить и поддерживать
друга.

— Значит, не скажешь? — совсем упал духом
Ладо.

— Ну что я могу сказать, друг, да и как о таком
говорить?

— Не скажешь, стало быть... — Цинцадзе поже-
вал губами, и возле самого кончика усов папироса
предостерегающе вскинулась кверху.

— Не выйдет у тебя ничего, на пушечный выст-
рел тебя не подпустят, — упорствовал Бокерия, одна-
ко вид густых усов, встопорщившихся вслед за вздер-
нутой ввысь папироской, если и не заставил его по-
чувствовать себя банкротом, то во всяком случае вы-
бил из рук полмиллиона.

— Вот ты, значит, каков! — пораженный Цин-
цадзе остановил свой взгляд на Мамуке и Ношреване:
один сидел, обхватив руками колени, а другой рас-
пластался по земле, словно медуза, выброшенная на
берег, но оба решительно не понимали, чьи сокрови-
ща делят их покровители.

— За меня гроша не дашь, если рядом нет бабы,
— признался Бокерия. — Да, гроша ломаного не
дашь.

— Это и так понятно, — подтвердил Цинцадзе.

— Как так понятно? — обиделся Бокерия.

— В вагоне еще туда-сюда, а как на дорогу ста-
ли, я понял сразу.

— Вот ты шуточки шутишь, а ведь все так и
есть, — Бокерия дул на кончик своей папиросы, уже
сам не зная, шутит Цинцадзе или правда заметил
за ним что-то такое... — Со мной тогда не знаю, что
может случиться...

— Это я знаю, — спокойно заметил Цинцадзе и
опустился на корточки.

— Откуда, интересно, ты знаешь?



061935940
202501010333

— А что у меня, глаз нет?

— Ну и что?

— А то, что вижу, ноги тебя совсем не несут, гвоздь впился, в суставах обмяк, и сам — как мешок...

— Все верно! — согласился Автандил, а Ладю ждал, что Автандил от обиды взовьется. — Так все и есть! В ногах — тяжесть, поясницу ломит, грудь рвет от кашля, да еще чихать примусь — без продыху, штаны сваливаются, на ботинках подошва мигом сгорает, чего говорю — сам не пойму. Все беды на мою голову. А бабу увижу — всем бедам конец.

Ношреван рассмеялся. Мамука извлек из книги листок и принялся складывать в треугольник.

Весь в пыли к ним подполз рыжий парень — проснувшись, тоже захотелось на травку — и начал отряхиваться. За ним подполз второй, красный, словно разгоревшаяся лучина. Бокерия придвинулся поближе к канаве и откинулся на спину.

— Тут дело раз было, приглянулась мне девчонка одна, деревня ее с нашей рядом, — начал Автандил, горестно покачав головой.

— Изменила? — посочувствовал Цинцадзе.

— Что? — встрепенулся Мамука.

— Да нет, — успокоил его Ношреван, словно Автандил по секрету уже поведал ему эту историю.

— Не в измене тут дело... — отозвался Бокерия, продолжая горестно качать головой.

— Я же сказал тебе! — и Ношреван — спина к спине — прижался к Мамуке, но туманное это объяснение не внесло в душу Мамуки покоя, и листок, свернутый пока с одного угла, так и замер у него в руках.

— Люблю ее, ребята, места не нахожу, чувствую, человеком стал! — доверчиво повествовал Автандил. — А она-то сверкает, как в тумане звезда.

— Позаботился о тебе господь! — ободрил друга Цинцадзе.

Мамука с Ношреваном улыбнулись.

Эта улыбка на лицах людей, болтающих на чужом языке у сточной канавки возле белой хатенки, перебежала к рябому азербайджанцу. Боясь помешать, он тоже присел на скрещенных ногах невдалеке и рядышком положил свой вещмешок.

— Давай, давай! — улыбнулся он Бокерия.

— Давай! — кивнул ему Автандил, признав в нем того, кто всю ночь напролет пинал его в бок. У меня ж азиатские сапоги были — кожа тонюсенькая, без крахмала не натянешь, на улицу выйдешь — скрипят, собаки от злости на заборы кидаются, а чуб у меня был — дроздов не отгонишь...

— А дрозды почему? — доверчиво удивился Ношреван.

— Дрозды-то при чем? — Мамука тоже не понял.

— Пусть себе чешет! — заступился Ладо.

Рябой тоже глядел на них, сильно задумавшись, словно и он в толк взять не мог, при чем тут дрозды.

— У дроздов, мой дорогой, своя забота, им гнездо вить, вот и высматривают понадежней местечко, — Автандил с ходу отбрил Цинцадзе вместе с его усами.

По лицам ребят опять пробежала улыбка, и рябой улыбнулся.

— Хочешь не хочешь, а мы с нею вконец извелись.

— А ей что? — спросил Мамука.

— А ей ничего! — успокоил его Ношреван, словно и об этом ему рассказали.

— Вот так и пошло, я к ней не могу шагу сделать, а она ко мне.

— Это что же такое стряслось? — растерялся Цинцадзе.

— Да то стряслось, что сапоги окаянные, что тебе ночью, что днем...

— Все ясно, — хлопнул себя Ладо по лбу. — Скрипу от них на всю округу, да еще дрозды вокруг тебя всей стаей хлопочут.

На Ношревана от смеха икота напала, смех душил рыжего, он только и мог выдать свое «давай, давай».

— Там она полыхает любовью, а здесь от меня один пепел остался.

— Надо было в те азиатские сапоги вколотить гвоздей покрупней, — нашел выход Цинцадзе.

— А с дроздами как? — пискнул сквозь смех Ношреван.

— А на дроздов... Бритву бы поострей! — тут же порешил Ладо. — И обрить, как сейчас, — наголо



На смех подползли еще ребята, устраиваясь ближе.

— Ты же мужчина! — напомнил Цинцадзе.

— Конечно, мужчина! — Бокерия совсем вошел в роль, отчаянно жестикулируя. — Я — мужчина, и честь моя всегда... со мной... — Он осекся, поняв, что его не туда понесло, и, сорвав с головы пилотку, бросил оземь. — Мне тогда никаких шапок было не надо, на кой мне черт шапка, когда на голове волос копнища, упряжка волов прокормилась бы зиму.

Перед Мамукой вдруг возник каштанового цвета вол — на зиму кукурузной соломы ему надо было связок полтораста, не меньше, потом другой, такой же вол, потом все триста связок в одной копне сразу и, наконец, вся копна на голове у Бокерия, — и Мамука расхохотался, будто ребенок, позабывший, что в доме покойник.

— Погубят тебя шевелюра и сапоги, — предрек Цинцадзе.

— Тебе шуточки, а ведь так все и было.

— А я о чем говорю? — посочувствовал Ладо.

— Что ты тут сделаешь — мне к ней не сунуться, ей ко мне тоже нельзя — люди кругом. Ведь не бросится ж она мне на шею при всех... Девушка все-таки, да какая!

— И тебе от нее никуда?..

— А куда ж мне податься, чудак-человек?

— И не подашься... Тебе от нее — никуда; гвоздочки клюют что в башку, что в ноги.

Ношреван — снова икать...

Бокерия так вошел в роль, что мимо ушей пропустил и башку, и гвозди.

— Не поверишь, но девушка такая, солнце увидит ее — и дальше не катится. Что ты тут сделаешь... Хоть головой в омут кидайся. За день я раза три к ним в деревню сметаюсь — туда и назад, туда и назад.

— Давай, давай! — опять подхлестнул рябой, зовя всех, кто еще валялся в пыли, ползти к ним и слушать.

— Ты б на собак поглядел. Будто им шашлык из юдной вырезки бросили — так они на заборы свои кидались, — и, кивнув на забор, Бокерия прорычал

злобным рыком, дабы всем стало ясно, как рвались и рычали собаки.

— А дрозды? — сквозь икоту едва вымолвил реван.

— Дрозды в тот год без гнезд остались... на волосы мои понадеялись...

— Ладно война началась, а то бы во всех лесах окрест перевелся бы дрозд, — с облегчением проговорил Цинцадзе.

— Не было б счастья, да несчастью спасибо, — взгрустнулось Мамуке.

— Ну а девчонка? — спохватился опять Цинцадзе.

— Девчонка — что? Как свечка истаяла, не ела, не пила.

— Вот беда! — у Мамуки екнуло сердце.

— А куда ей было деваться от такой жизни несладкой? — в голосе Антандила были слезы.

— Не ее вина, что поделаешь... — не обнаружил выхода и Цинцадзе.

— Замуж вышла...

— Замуж? — опешил Мамука.

— Нет, нет! — воскликнул Ношреван, словно ему все рассказано было совсем по-другому.

— Ой, кёп-оглы, сучий сын! — горестно вздохнул рыжий и оглянулся на всех, словно винясь, что позвал их сюда.

Улыбка, пробежавшая по разноплеменным лицам сбившихся в кучку ребят, исчезла, и вслед за Мамукой все сникли.

Даже Цинцадзе нахмурился, а уж он, видит бог, держаться умел.

— Тебя, парень, как звать? — прозвенел чистый резкий голос, и в разбитое окно высунулось лицо майора.

— Меня? — растерялся Автандил, не поняв, что он тут натворил.

— Тебя, тебя!

— Бокерия, товарищ майор! — он даже сделал было попытку отдать честь, но спохватился, вспомнив, что пилотка опять валяется на земле, нагнулся за ней, натянул по самые уши и тогда только вытянулся перед майором.

— Ты, Бокерия, молодчага, — похвалил командир и скрылся в окне.



В отличие от его адъютанта излишняя полнота не мешала комдиву, когда он стоял перед строем. В эту минуту он был тем самым конармейцем, который мог спать в седле и осаживать могучего норовистого жеребца, не касаясь стремяни ногой.

Наследников таким молодцом прошелся перед повзводно выстроившимся во дворе конезавода, неопрятно смотрящимся полком, что комбат Хвастунов, позабыв про боль в пояснице, вытянулся перед ним, как не вытягивался, когда сам был новобранцем.

Родной запах конюшни и широкий двор, спускающийся к реке, которая, глухо рокоча и никому не мешая, отсекала от леса самый край, обратили мысли Наследникова к тому, что будь все это где-нибудь в Подмоскowie, лучшего места для жигья прославленному военачальнику и не сыскать, а там дальше, вниз по течению, могли б расселиться другие военачальники, уже давно удалившиеся от дел. Воображение увлекло Фому Фомича так далеко, что на секунду он даже остановился и тем самым, не оборачиваясь, дал Боженко почувствовать, что ему позволено догнать начальство и стать рядом с ним.

— Вам что, не нравится этот пейзаж? — спросил генерал, несколько задетый тем, что Боженко до сих пор его не догнал.

— Пейзаж?! — переспросил майор, которому ни разу в голову не приходило, хорош тут пейзаж или нет.

— Так чем же не по душе вам здешние места?

— Здешние места? — словно голодный ястреб, майор мигом окинул взором все, что могло попасть в поле зрения. — ...Местность ничего, неплохая, — с несвойственной ему интонацией, конфузясь словно женщина, стучающаяся в чужое окно, проговорил майор.

— Отменные места, товарищ майор, отменные, — и комдив опять огляделся кругом.

— Да, неплохие... — прежний голос вернулся к Боженко, и он пропустил начальство вперед шага на три.

— Должен, однако, заметить следующее, — Наследников перевел разговор на другое.

Замечания здесь заслуживало решительно все, на что ни падал глаз, и все в создавшейся ситуации могло быть расценено как неприемлемое и недопустимое. Но получил замечание только толстяк Глебов, у него в отделении у двух бойцов размотались обмотки, а у одного даже волоклись по земле. Правда, сказано было при этом, что не следует бойца только жучить, он, боец, нуждается и в поощрении. Хотя и нелегко было разобрать, кого считать лучшим, а кого — худшим, однако наметанный глаз даже в подобной ситуации различал тонкие оттенки, недоступные многим из командиров, метящим в генералы, и даже если б этих оттенков и не было вовсе, генерал все равно нашел бы за что похвалить, ибо в одобрении и поощрении боец нуждается не меньше, чем в строгости. За что он отмечен, значения не имеет. Главное, чтоб рядом стоящий боец осознал, что и его могут отметить и поощрить, если он будет нести службу исправно.

И нашелся такой, для других скрытый, повод: отделение, которое своим вниманием отметил Наследников, уже одним этим заслужило того, чтоб считаться примерным. У двенадцати красноармейцев обмотки накручены были как надо, и командир отделения, стоявший перед генералом навтыжку, как заправский вояка, умудрился даже надраить разбитые ботинки черной ваксой.

Генерал опять остановился, не оборачиваясь, и опять Боженко поравнялся с ним.

— Даже в подобных обстоятельствах командир отделения... — начал генерал.

— Бокеря! — доложил майор, выяснивший, как звать этого бойца, еще два дня назад, когда высунулся в разбитое окно.

— Бокерия, товарищ генерал! — отдав честь, поправил майора Автандил.

— И все-таки Бокеря! — перед подчиненными Наследников взял сторону комполка, чем дал почувствовать «бокерияподобным», что комполка есть комполка, раз он таковым назначен, и если тебя назвали Бокерей, Бокерей тебе и быть.



— И все же я всегда был Бокерия! — не сдавался Автандил, словно говоря: хоть ты комдив, но над ^{его} им именем я сам хозяин и маршал.

— Ты молодец, Бокерия-Бокеря! — похвалил его Наследников, не желая обижать ни командира, ни бойца, и двинулся дальше.

За сегодняшней день генерал должен был, раз уж он завернул сюда, своими глазами увидеть все полки и батальоны, которые были разбросаны по школам, конюшням и прямо в поле, чтобы рапортовать о них командованию округа.

Мамуке с Ношреваном, которые совсем пали духом, даже в голову не приходило, зачем это их отделенному понадобилось собственноручно обмотать им ноги обмотками, у которых где конец, где начало, недотепам этим было совсем невдомек.

— Ай да Бокерия! — улыбнулся Автандил в сторону усов Цинцадзе.

— Быть тебе у него в адъютантах, а там до командующего рукой подать... — предрек Цинцадзе, когда тучный наследниковский адъютант проследовал мимо них.

— А вам куда? — обиделся Бокерия.

— А нам помирать, — не стал таиться Цинцадзе.

Мамуку совсем не занимало то, что поглощало мысли всех: куда перебрасывают поднятый среди ночи полк.

Его и печалило и огорчало другое. Там, откуда его сейчас увезли, он оставил гнездо, созданное его великим радением и тщанием, — пусть это был не двор, не дом и не сад, а всего закуток. Когда казарма погружалась в сон, он не спал и втайне от всех воздвигал это убежище. Возводить его он начал сразу, едва ткнулся в угол конюшни... Вернее, когда Бокерия уступил им, Мамуке с Ношреваном, уголок, поначалу облюбованный для себя.

— Им тут будет повеселей! — порешил Автандил сам с собой. — А в этой казарме — конца-краю ей не видать — сгнуть им, как ягнятам без матки.

— Вот вам гвозди и доски. Шуруйте!

Ардадзе не знал, каким концом вбивать гвоздь, Амаглобели, может, что-то и смыслил, но стоило им

вогнуть здоровенные эти гвозди в сырые березовые тесины, как доски лопнули с треском и сооружили нарлегло на плечи Цинцадзе.

В тот же вечер наверху у Мамуки уже был свой закуток. Камни тут голо выпирали из стен и были отполированы крупным холеным конем, который чесал о них шею. Мамука улегся, отвернувшись к стене в темноту, но конь, когда-то тут обитавший, оставил в стойле резкий и терпкий запах жеребьячьего пота и тоски по кобыле, и, встав на дыбы, жеребец ночь напролет лягал Мамуку копытом.

Буланый долго не подпускал незадачливых всадников, один из них примостился под животом, а другой норовил вскарабкаться ему на спину: но куда было деться двум бедолагам и скакуну — ветер, сквозивший из распахнутых настежь дверей, и дежурные, которые мели тут и чистили, гнали его из казармы на волю. Постепенно резкий запах жеребьячьего пота, мочи и навоза смешался с запахом пота и соли, исходящим от измочаленных ученьем ребят, покрывавших в день десятки километров.

Мамука не сразу, но все же устроил «лачугу» на спине жеребца: точь-в-точь комната Тэклы; и еще это было похоже на переднюю комнату в оде Парны, в Гулзоди. Когда, рухнув на нары без сил, Мамука поворачивался к стене, подоткнув под спину шинель, — он обретал родной угол. Казарма была за шинелью. Шинель была та глухая стена, за которой жили соседи Тэклы, а в изголовье трех сбитых досок поднималась другая стена с окном, выходящим на узкую улочку. В углу от окна справа стоял круглый стол, на нем две стопки книг и карты, в которые Тэкла с Мамукой сыграли на поцелуй, когда приехали из деревни. В ногах, где стояли ботинки, он вдвинул шкаф с ее платьями и бельем, висело в шкафу то самое платье — сиреневое с вырезом и в крупный белый горох, которое было на Тэкле, когда они познакомились, и еще зеленое в белых ромашках, в котором она была там, на острове, между Черной и Голубой рекой.

Он упирался лбом в стену, и конские волоски, прилипшие к просалившимся камням, забирались ему в нос, и было шекотно. Но все же он втиснул сюда и кровать Тэклы, и камин, и другой стол, квадратный,




заваленный книгами и тетрадями. Место нашлось и старому креслу с осевшими пружинами, и даже стульям с балясинками, которые были у них в деревне.

Господи, как кляла его Тэкла, когда он уехал, сбежал, изменил... ни сердца, ни совести. Заладит — не остановишь... Чего натворил? До вокзала бы хоть проводила... Что, боялся, за поездом побегу? По пятам буду гнаться? А чего ревновать. Но она ревновала Мамуку — то без всяких причин, то как умудренная жизнью зрелая женщина — и считала денечки на тоненьких пальцах: первый день миновал, второй, третий, четвертый...

Бывает, зайдет сюда Элпитэ и даже Мамукина бабушка Марта, от морщин лицо у нее словно в мелкую клеточку. Порой Парна заглянет, но Парна сядил лишь на свой стул с балясинками, а случалось, он сажал рядом дядю Луку. Здесь навзрыд плакала мама, неулыбчивое лицо мамы потемнело от горя, стало вовсе сурово и хмуро. Однажды Мамука застал тут Тэклину мать — приехала из Абастумани. А в другой раз явилась, высоко неся голову, тетя Ивлити — ни Леону, ни Бакури, ни Ватути не давала она вешать нос и терять присутствие духа.

Здесь читали стихи и свои, и чужие. Вся компания здесь умещалась, да еще друзей сколько и просто знакомых, Ношреван иной раз с нижних нар взберется к Мамуке, и тогда они вместе познакомили Тэклу с Бокерия и с Цинцадзе, с Вишневским и Винокуровым, с чеченцем Нурадильдой и с туркменом Нариманом Бердиевым, и с азербайджанцем «Давай-давай», который выучил еще одно русское слово: «поехали!».

Станным было лишь то, что по этому дому постоянно носился необъезженный жеребец. Совсем это было некстати, но душою Мамука был так далеко от казарменной жизни, что не гоняй по его обиталищу неоседланный жеребец, он бы здешнюю жизнь и во сне не видал. Не видал бы, ибо где бы он ни был: в конюшне, на нарах, в своем закутке, во дворе, у реки, в березовой роще или глубоком окопе, — он был неразлучен со всем тем, для чего был рожден и что было им брошено. Но порой Бокерия, Цинцадзе, командова Винокуров или кто-нибудь из других командиров или своих же ребят, а может, саперная лопата с



коротеньким черенком, винтовка, или котелок с горячей едой (почему еда была в котелке, а не в миске или в глубокой тарелке, он так и не понял), или что-то еще, к чему он не привык, заставляло его оглядеться кругом, чтобы увидеть, очнувшись, где он находится, и тогда из своей глубокой дали он угадывал эту зыбкую явь.

Вот и сейчас, втиснутый между ребятами в кузов грузовика, он опять возводил четыре стены своего обиталища и всю ту страну, которой восемнадцать лет была для него деревня Гулзоди, потом год целый — Тбилиси, три недели — конюшня, и теперь в этом трясущемся кузове он опять собирался сколотить ту лачугу для себя и для Тэклы.

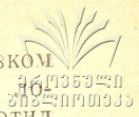
А набитые бойцами машины шли своею дорогой, и если кто-то болтал, волновался, смеялся, и если вообще что-нибудь совершалось, то совершалось где-то за стенами и доносилось все до него, как доносятся до человека, уютно притихшего в родной комнатенке, голоса соседей и близких, неровный шум города и отзвуки той смутной жизни.

На рассвете под визг тормозов и крики команд Мамуке привиделось, будто они пришли туда, где на белой вокзальной стене голубел ящик, припорошенный пылью шинельного цвета. Эту голубую точку он помнил всегда, как тот огромный камень, на котором любила сидеть Тэкла, или сизый песок на их островке, когда Тэкла лежала на нем.

Когда он прыгнул с грузовика и явь обрела плоть, он тут же направился к этой точке, как идут на свидание.

Тот же эшелон, который привез их сюда, стоял на путях, и при виде родного состава его сердце радостно заколотилось, потому что по душней теплушке он соскучился так же, как по всему, от чего унесли его эти вагоны.

Три недели, прожитые в лачуге, возведенной воображением, пробудили в нем инстинкт поиска крова. Он уже наострился выгораживать себе клочок жилья в этом мире, битком набитом людьми, и едва раздалась команда «по вагонам», как он бросился в свой уголок, чтоб никто не успел его захватить.



Волоча вещмешок, он стремглав пересек ползком пространство теплушки, только колотилась об пол пата, и бросился в тот самый угол, который приютил его, когда ехали сюда. Он вполз и затих, смежив веки, совершенно счастливый. Этот поезд сегодня или завтра, а может быть, послезавтра, но именно этот поезд привезет его туда, откуда он был вырван.

Дороги и машины, двор и конюшня сменяли друг друга, как менялись и командиры: первый с рук на руки сдал их второму, второй — третьему, и ответственность за них всех тоже перескакивала с первого на второго, со второго на третьего. И кто теперь будет отвечать за Мамуку — неизвестно, а вот поезд какой был, такой и остался.

Прошел ровно год, как Мамука покинул деревню, поезд унес его от матери и отца, через недельку обещал привезти обратно в Гулзоди, к маленькой станции, но с тех пор везет и везет... Не сосчитать, сколько дней прошло, неделями и месяцами измеряется теперь его опоздание.

Первые семь дней пришлось очень туго, он рвался из города, но надо было сдать все экзамены, чтобы после не начать все сначала, опять пережив прощание с домом. Остался еще на неделю, а далеко на путях гудок паровоза звал с собой: «Пора ехать, я обещал, что верну тебя им». Ему не терпелось обратно в дорогу, да и с тетей Ивлити было ему нелегко — горда, холодна, нетерпима.

А тут началось.

Он наткнулся на Тэклу в университетском саду, на скамейке у края обрыва. Огромными своими глазами она неотрывно смотрела на вольеры и клетка раскинувшегося внизу зоопарка. На коленях — книга, а сама в сиреновом платье в белый горох с большим вырезом. Он подумал тогда: она смотрит — и не видит кругом ничего.

— Пришел? — спросила Тэкла, не обернувшись, и вздохнула.

А он как раз думал о том, как поездом приедет домой и мама, не отрываясь от дел, но очень серьезно бросит:

— Пришел наконец-то?

— Пришел. — ответил бы ей Мамука и сел бы рядом с мамой на топчан, на котором лежал набитый сеном тюфяк и поверх старый ковер.

Со двора прибежала бы черная псина и заскулила бы под дверями, потому что никому до нее дела нет...

Внизу под обрывом мычало, рычало, тьявало и скулило зверье.

Мамука опустил на пыльную траву, а может быть, она ему показалась пыльной в сравнении с зеленью их деревенских лугов.

Тэкла испугалась, увидев его, и отодвинулась, не поднимаясь, однако. Ей показалось, что она уже видела этого парня, и она притихла, не зная, помнит его или нет.

Мамука улыбнулся ей, как улыбнулся бы матери, и это было так ей знакомо, что и она улыбнулась, но не ему, а этой родной улыбке.

— Это ты... — проговорила она.

— Я?! — растерялся Мамука, ибо он забрел сюда совершенно случайно, а совсем не к этой глазастой девчонке.

— Почему ты пришел сюда?

— Нет, — откликнулся он. — Я не шел сюда...

— Ты куда сдаешь? — отлегло у Тэклы от сердца, ее мысли витали совсем не здесь.

— Я?! Что сдаю?

— Экзамены. Экзамены куда сдаешь? — повисла она голос, ее собеседник тоже где-то витал и надо б его возвратить на землю.

— Да туда!.. — и Мамука большим пальцем через плечо показал на белое здание за купами деревьев.

— Это я понимаю. А на какой факультет?

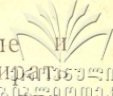
— На факультет?

— Ну да. Не на филологический? На днях я, помоему, видела вас... Наверное, здесь.

Мамука кивнул, подтверждая не то, что она его видела здесь, а что он поступал на филологический.

Если бы все мы, доверяясь сердечному зову, лукаво не мудрствуя, не ломясь в открытые двери, шли прямо навстречу друг другу, когда спросят нас: «Ты пришел?», да еще облегченно вздохнут, мы были бы счастливы.

Потом эта девочка заполнила собой все, от чего



умчал его поезд, протяжно кричавший на вокзале и зовущий обратно домой. Если б пришлось выбирать между Тэклой и всем, что прожил Мамука с того дня, как увидел белый свет, и до того дня, как увидел Тэклу, то перевесила бы чаша Тэклы. Перевесила бы, потому что эта девочка вобрала в себя все, что звалось Мамукой, и даже мать с отцом не могли бы ее заменить.

Но спустя год поезд вернул Мамуку к тому, с чем его разлучил.

Эшелон тронулся...

На самом деле поезд вовсе не разлучал его с родным домом, а еще больше приблизил к нему, потому что вернул его в дом вместе с Тэклой. Он привез ее туда, где и положено ей было быть, и назначил всему его настоящую цену — всему, что еще не открылось сознанию и казалось обычным, что еще не означено было, не названо, — и трава, и даже воючая тина обрели имя и место в его сознании.

Болото и тину он помнил с детства, но что между Черной и Голубой рекой лежит остров, Мамука забыл или даже не знал, а приехала девочка, и узкую сизую мель обратила в мир, необъятный, как материк.

Поезд мчался, и по каким бы путям его ни носило и куда б ни несло, все равно не сегодня, так завтра, а может быть, послезавтра, он непременно доставит его в Гулзоди, как в прошлом году, когда поезд увез его, а потом обратно привез переполненным через край. Его душе всего было вдосталь. Но ведь и тогда было вдосталь, когда он в первый раз уехал от мамы. Откуда ему было знать, какой клад ему отворится. А сейчас, может быть, этот клад разрастется... Может быть, он пополнится болью, видно, боли ему не хватает, а ведь ей надо быть.

«Может быть, все для этого, Тэкла? Лишь для этого, Тэкла? И больше ни для чего?»

Кидаясь из стороны в сторону, состав выписывал на рельсах свой долгий, неведомый, как судьба, путь.

— погоди! — взвизгнул Бокерия, когда сквозь рев самолетов за стенкой вагона прорвался оглушительный грохот и по стене, обрушившись разом, забарабанили то ли камни, то ли сохшиеся комья земли.



Землю встряхнуло, теплушку швырнуло ^{вверх,} вскрикнул паровоз, завопил отделенный, и ^{Мамука} почувствовал, как его подбросило к самому ^{потолку} той лачуги, которую уже возвело его воображение, и выбросило из-под ее крова.

— Спокойно, товарищи! — где-то у входа в теплушку приказал Винокуров, и это походило на совет себе самому.

Откуда-то приполз Ношрewan. То ли взрывной волной, то ли собственным оглушающим страхом его перебросило через двух сонных красноармейцев и привалило к мамукиной спине.

В другом конце душевой теплушки, притаившейся от страха, что, может, опять гроыхнет, отmaterились так зычно и смачно, что забившийся в угол Мамука залился краской.

Кто-то больно ударился то ли об пол, то ли о стенку и теперь костерил немчуру вместе с бомбой — ведь он мог в эшелон угодить.

— Он что, этот сукин сын, совсем с ума спятил? — недоумевал даже смышленный Бокерия.

— Как есть спятил! — подтвердил Цинцадзе.

— Кёп-оглы! — рявкнул «Давай-давай».

— Тьма-тьмущая, хоть глаз выколи, а он нас разыскал! — дивился отделенный. — Что же днем будет?

— Без паники, Бокерия, без паники! — опять сам себе дал совет младший лейтенант.

— Ты не мне говори, а тому, кто бомбы кидал, — парировал замечание комвзвода командир отделения, не пожелав признать свою вину.

— Твоя правда! — согласился Винокуров, словно уверившись, что не Бокерия, ясно, бомбу бросал.

Далекое жужжание опять стало ближе, и опять неожиданно взревели над эшелоном самолеты, словно в воздух они взмыли прямо тут, из-за леса. Их колеса, казалось, коснутся сейчас крыши теплушки, и по обе стороны от нее один за другим прогрехотали два слепящих и оглушительных взрыва.

Чудом уцелевший паровоз вскрикнул с таким отчаянием, словно бомба угодила ему прямо в котел и он испугался, что не успеть ему вскрикнуть.



— Прикончит он нас! — у отделенного сел голос

— Худо мне! — простонал метавшийся в жару чеченец. — Воды!

— А нам еще хуже, ты хоть можешь думать, что все с жару мерещится, — позавидовал Бокерия измученному Нурадилле.

— Значит, все это правда? — в полузабытьи проговорил Мамука, высвобождаясь от пальцев Ношревана, больно вкогтившихся в плечо.

Зычный бас в переднем углу теплушки выпустил на тех, кто несчастье наслал, такую уверенную очередь, что добавить к ней было нечего, и даже Бокерия смолк от радости, что злодей получил по заслугам. Жужжание самолетов опять стало отчетливей, и Мамука с такой силой вжал ладони в уши, что когда взрыв смолк, ему показалось, уши расплющились в лаваш.

А в следующий миг он так же безжалостно впился в спину Ардадзе, безуспешно пытавшегося вырваться из цепких объятий друга.

— Чего ему надо от нас? — голос у Мамуки совсем осел, но за стуком громко колотившихся от страха сердец, среди криков и грохота эшелона, никто из ребят его не услышал.

— Карпионов, будь человеком, еще раз пропиши им как надо! — попросил Бокерия. — А я от Боженко не отвяжусь — пусть представляет тебя к наивысшей награде.

— Давай-давай! — присоединился «йолдаш».

Материться по заказу Карпионов не умел, и, чтобы не промазать в противника, который носился сейчас в поднебесье, он предпочел промолчать.


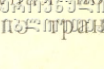
— Где же его отделенный? — возмутился Бокерия. — Глебов, командуй, а то немец опять над нами вьется.

— Карпионов, огонь! — вскинув голову, выкрикнул, как приказ, Глебов, вжавшийся в стену теплушки всем своим тучным телом.

Карпионов хранил молчание.

— Это что же, с двух очередей весь боезапас вышел? — удивился Бокерия. — Смотри у меня, Глебов, командующему доложу, тут изменой пахнет.

Даже в такой заварухе кто-то сумел засмеяться.

— Вот он, снова пожаловал, не ответим  всех перебьет, чтоб ему сгинуть! — и Автандил удрал сном на пол между двух ребят, словно полз  шее.

Самолеты пронеслись вдоль эшелона, взрывов, однако, не последовало.

— Нечего лезть к Карпионову, он боезапас бережет! — оправдал Бокерия «изменника» и опять сел. — А этот чего орет? — вскинулся он теперь на паровоз. — Он что, немцу сигналит, куда бомбы кидать, или считает, от его верещанья немчура над ним сжалится?

— Разжалобить хочет! — разъяснил обстановку Цинцадзе.

— Объявляет тревогу! — доложил сам себе Винокуров.

— А на кой черт мне его объявление, когда бомбы орешками сыплются? Глаза-то и уши при мне, — обозлился Автандил.

— Воды! — простонал чеченец.

— Эй вы там, дайте попить человеку! — приказал отделенный. — Думал, отведу его утром в санбат и на сестриц погляжу, а теперь — что там твой жар... ладно, если к утру меня вместе с ним туда не отправят, и растянусь я тогда на коленях у этих красавиц.

— Тебе, главное, до коленок добраться, а там не пропадешь! — утешал его Ладос.

— Про девушек лучше не надо! — вздохнул Вишневатский.

Снова стал приближаться гул самолета, он шел за поездом, как привязанный.

— Карпионов! Он на макушку нам сел, пошевеливайся! — крикнул отделенный, врезавшись носом между соседей после того, как опять, разодрав с во-ем воздух, невдалеке стали взрываться бомбы и вагон чуть не сбросило с рельсов. Стоило жужжанию на мгновение стихнуть, Бокерия определил наконец участь молчавшего Карпионова:

— Винокуров! В полевой суд его!

— Предадим!

— А командиру отделения — предупреждение!

— Это уже второе будет, первое комполка дал! — напомнил командирам Цинцадзе.

— Тут еще Кудрявцев отмалчивается! — вспомнил Бокерия деликатный мат москвича.

— Он понимает, что с его мелкокалиберной ватся нечего! — объяснил Ладо молчание москвича.

— Лучше уж так, чем вообще ничего. Срам, да и только!

— Чего уж там лучше! — не согласился Кудрявцев. — Zenитки молчат, куда уж мне с дробовиком?

— Он прав, чего лезть к человеку? — вступился за Кудрявцева Цинцадзе.

— Тогда хоть ты языком шевельни!.. — перекинулся на Цинцадзе Бокерия. — Ты же, черт побери, кахетинец!

— Пока выдам как надо да на русский переведу, не то что самолет, арба меня перегонит.

Снова закричал паровоз, объявляя тревогу, на эшелон обрушился гул самолетов, и когда, раздирая небо и землю, загрохотали взрывы, в действие вступила, не удержавшись, тяжелая артиллерия Карпионова, а за ней малокалиберка Кудрявцева, и, чтобы не тратить время на перевод и не дать себя вглотать в землю, крепко отmaterился по-грузински Цинцадзе.

На рассвете, еще вздрагивая от страха, эшелон остановился в укромном месте у западного края леса.

— Куда это нас приволокли? — рявкнул Леняков Винокурову. Стоя в дверях теплушки, Винокуров собирался спрыгнуть на землю.

Комвзвода удивленно вылупил на него и выпрыгнул из теплушки.

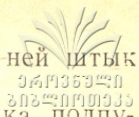
— Саша! — отозвался Бокерия, поднимаясь с пола и отряхиваясь. — Ты не слыхал, Винокуров не у штабных ночевал?

— Почем мне знать, где он там ночевал? Раз командир — должен знать, — проговорил Леняков, приставляя винтовку к стене. — Всю ночь мне ребра считала.

— Если мешает — ей живо хозяин найдется! Половина ребят без оружия.

— Думаешь, будет пулю в пулю садить?

— Верно! — подтвердил Цинцадзе. — Что винтовка эта в руках, что кол... все одно.



— Да хоть в рукопашной сгодится, на ней ^{штык} другого ружья стоит!..

— Если немец тебя на расстояние штыка подпустит, тогда о чем говорить, — уступил Ладо.

— Выгружайсь! — закричали снаружи, и по гравю насыпи затопало множество бегущих сапог. — Всем вниз! Быстро всем вниз!

Прибежал запыхавшийся Винокуров, за ним политрук Сапожников, притащился неповоротливый комбат Хвастунов. Нехотя и неуклюже из тронувшегося поезда вываливались на землю ребята.

Мамука скатился с насыпи вместе с вещмешком, скаткой и противогазом и, лишь ощутив траву под собой, собрав силы, поднялся.

С трудом собрав отделение, Бокерия хотел уже скомандовать строиться, как раздалась команда — в лес через насыпь! — и, перескакивая через колею, ребята едва успели скрыться в ельнике, как кошмаром минувшей ночи опять навалился знакомый гул самолетов.

Визгливо вскрикнул паровоз, скорей всего от беспомощности, он бежал по кромке густого леса, а свернуть и спрятаться в чаще не мог.

— Ложись! — стоя во весь рост, крикнул Бокерия, когда над их головами пронеслись самолеты, спикировав на состав, как черные хищные птицы на выгнанного в поле зайца.

— Швах его дело! — посочувствовал поезду Автандил. Приподняв над землей голову, он подполз к дереву, прислонился спиной к смолистой коре и положил ружье на колени.


— Зачем только нас в этот лес привезли? — интересовался опять Лентяков.

— Лесу спасибо скажи, что сукин сын немчура кукушкой пролетел над твоей головой, а то б он тебе показал, куда нас привезли.

— Да с его-то ружьем он бы пальнул раз — и нет сукина сына, — успокоил Ладо отделенного.

— Тоже мне ружье! — буркнул Саша и, словно обломившийся черенок от лопаты, швырнул оружие под невысокую ель.

— Тогда этим ребятам о чем говорить? — Бокерия поглядел на Мамуку с Ношреваном, распластав



шихся по земле, отыскал глазами больного чеченца и рыжего Богомолова, навзничь свалившегося у опушки и безмолвно уставившегося добрыми глазами прямо туда, где успел разглядеть в верхушках деревьев немецкую свастику.

Из чащи донесся резкий голос Боженко, ему будто сдавленным стоном откликнулся Хвастунов.

К полудню они успели добраться до другого края леса.

Ремень у винтовки — Ладю, как сползший хомут, тащил ее на груди — лопнул, и теперь он нес ее на плече, как дубину. Богомолов своего оружия не имел и нес винтовку угреватого Юдина в надежде на то, что, если появится противник, на его долю тоже достанется расстрелять горсть патронов, и право на это он старался заслужить исправным ношением оружия в очередь с Юдиным.

В здешнем бору не было тех непролазных чащоб, какими помнил Мамука колючие заросли облепихи и ежевики в их грабовом лесу возле деревни. Да и что вспоминать — перед глазами стояло, как вспорхнет из-за белоуса юморительный дрозд, рассыплется трескотней, а разглядеть его в высокой зелени, обступившей тебя живою стеной, и не думай.

Сквозь верхушки деревьев здесь видно было небо, а попадался низкий ельничек или юные рощицы, где береза, сосна и осина разом вырвались из земли, то сквозь них можно было пройти, не зацепившись ни разу. Валежник и хворост не засоряли дорог и тропинок. Наверняка рядом были деревни, и весь сухостой и валежник шел на дрова. Вокруг изредка попадавшихся свежеспиленных пней не оставалось даже мелкого хвороста — лес не мешал уставшим бойцам свободно идти сквозь него.

На опушке они передохнули, хоть и так не бежали, а передвигались неспешно. Командиры не торопились, сберегая, видимо, силы для ночи, когда лес больше не будет их укрывать и они выйдут в открытое поле, где рожь по пояс и каждого видно, как яйцо на ладони, а вокруг, куда ни глянь, нет и тени укрытия, а в исполосованном тучами небе глухо гудят самолеты, словно пчела, которая осталась за лет-

ковой задвижкой и лазейку никак не найдет, но и от улья родного не может уйти. Однако после мимолетной ночи в отделении у Бокерия в голову никому не пришло, что в этом гудении есть хоть какая опасность.

К полудню то ли пчела отыскала лаз, то ли открыли леток, но жужжание прекратилось. Заслышав карканье ворон и тревожный гомон вспугнутых птиц, с опушки леса поднялось и, пригнувшись, гуськом перебежало в рожь одно отделение, взявши направление на северо-запад, где вдали чернел другой лес.

Едва это отделение скрылось из виду, как следом поднялись два других отделения и, сохраняя между собою дистанцию в добрый участок вытоптанной ржи, погнались вдогонку ушедшим.

— Хоть бы придумал что-нибудь с этой окаянной винтовкой! — попенял Бокерия Цинцадзе, вернувшись к своему отделению и уже понимая, что наступает их черед вставать и бежать.

— Будь в штанах у меня хоть тесемка какая, я бы живо ее приладил к ружью.

— Раньше надо было подумать! — отделенный явно был недоволен бесхозяйственностью подчиненного.

— Я у тебя что, в директорах кожзавода ходил, — огрызнулся Ладо, — или мне в конском дерьме ремень откопать и уздечку?

— У Ленякова вон и ремень, и штык имеется, а что толку? — Бокерия попытался отделаться шуткой, понимая, что тот, кто прислал им винтовку, должен был позаботиться и о ремне, но на шутку никто не откликнулся.

— А мне что, размахивать прикажешь этим ремнем, чтобы немца достать? — разозлился Леняков, словно Бокерия отобрал у него снайперскую винтовку, а взамен выдал учебное ружьишко со стертой нарезкой.

— Неужели на передовую? — Богомолу не поверилось, что с этой винтовкой — у них с Юдиным на двоих — их близко подпустят к противнику, который вооружен до зубов.

— Это когда же мы доберемся до места? — те

же сомнения грызли Бокерия, и не произнеси он этих слов вслух, сомнения его бы совсем доконали.

— Эй, Бокерия, ты куда? — выкатив глаза, кричал Винокуров, выпрямляясь во весь свой рост среди пригнувшихся и трусивших сквозь рожь ребят, когда отделение Автандила, до того следовавшее по вытоптанной тропке, вдруг вслед за Бокерия стало сворачивать в сторону нетронутой ржи.

Отделенный махнул рукой — иди куда шел, не останавливайся.

— И правда, куда его понесло? — проговорил Леньков.

Оттого, что бежал он пригнувшись, винтовка сползла у него с плеча, повисла на локте и волоклась прикладом по земле.

— Ступай куда велено! — не оглянувшись, бросил отделенный и, словно ища верной смерти, стал забирать в сторону от той спасительной зелени леса, куда они направлялись сначала.

— Куда это мы поскакали? — усомнился и Цинцадзе.

— Тряхни ушами получше! — посоветовал ему командир, продолжая следовать по собственному маршруту.

Ладо распрявился и прислушался. Рядом бежал Мамука, позади них — Бердиев, впереди — Вишневский. В шелесте девственно спелой, доходящей до колен ржи и в топоте бегущих ног он, разумеется, ничего расслышать не мог.

Вскоре отделение и вовсе отбилась от взвода, идущего напрямиком через поле. Ребята обливались потом, и сердце, казалось, застряло в глотке.

— Погодите! — просипел Богомоллов и замер, тупо уставившись в небо. Сзади на него налетел Юдин.

— Бегом! — приказал Бокерия, и Богомоллов, споткнувшись, побежал вслед за обогнавшим его Юдиным, поравнялся с ним и на ходу перехватил у него винтовку.

Теперь уже и Ладо различил усталое жужжание пчелы, оставшейся за стенками улья.

Леньков кулаком обтер пот, заливавший глаза.

— Мы ж уходим от леса!

— Взяли б напрямик сразу, может, успели бы укрыться... — у Кудрявцева закруилось подозрение.

Автандил не стал отвечать. Только ускорил шаг, словно отбегая от идущего напрямик отделения.

Пчела обернулась уже жуком-древосеком, а укрытие отбегало все дальше и дальше.

— Автандил! — нагнал отделенного Вишневский, но тот, не изменяя кривого маршрута, отмахнулся, как от назойливой мухи.

И когда им казалось, что далекое жужжание уже несло где-то поверх истлевающих облаков, вдруг прямо на них спикировал самолет с таким гулом, какого они даже этой ночью не слышали, и, обрушив на них грохот мотора в тысячу лошадиных сил, машина повисла над открытым, как ладонь, полем так низко, что можно было различить кресты на ее крыльях.

— Разбегайсь! — рывкнул отделенный.

Словно вспугнутый фазаний выводок, отделение бросилось по ржи врассыпную.

— Ложись! — прокричал командир, ткнувшись носом в землю.

Чудовищно разбухшая пчела шла над ними, как пасть, пересчитывающий отару, и кружилась, проверяя, какое богатство в ее распоряжении.

Рассчитав, где всего больше можно выпустить крови, она пронеслась над приближающимся к лесу винокуровским взводом, описала круг над плотно сгрудившимися скоплениями людей и пустила пулеметную очередь.

Это звонкое стрекотание пронеслось над новобранцами громовыми раскатами.

Ногтями вгрызаясь в землю, Ношреван выдирает ее горстями. Мамука зарывался носом в самые корни ржи, и когда он поднял голову, рот и ободранный нос были забиты землей.

Снизу тоже раздался ружейный треск, но как ястреба не тревожит квохтанье клуши, так этот крылатый бандит, не обращая внимания на пальбу, еще чаще пошел косить с высоты, словно удивляясь, кто тут еще шумит и шевелится. И, оглушив распластавшихся по земле людей, он пикировал все ниже и ниже, стрекоча и прошивая пулями сухую и рыхлую землю, из

которой, как по струнке, вихрем взвивались фонтанчики пыли.

— О чем только думает этот мерзавец, так и в людей угодишь! — заорал отделенный, когда, простегав поле ржи, самолет сделал вираж для разворота, позволив Бокерия поднять голову.

— Совесть совсем потерял! — заключил Автандил, когда разгулявшийся этот разбойник, как повластный хозяин, неторопливо и аккуратно описал круг, словно эту украинскую землю венчал купол германского неба.

— Видно, это разведчик, либо «охотник» и, кроме пулемета, у него ничего, а был бы бомбардировщик, он бы вам такое кино показал! — разъяснил чуть поодаль прилипший к земле Богомолв и, стасив со спины скатку, прикрыл ею голову.

— Пульнуть бы в поганого! — вызвался отделенный, когда стихло над головой пулеметное стрекотание и самолету надо было опять развернуться, чтобы простегать новый ряд.

— Мою винтовку возьми, раз с одного выстрела рассчитываешь достать! — съехидничал Леняков.

— А что, пока мы с дивизией соединимся и ему как надо ответим, он над нами еще погуляет.

— Знал бы, конечно, не стал бы летать тут, — вступился за гостя Цинцадзе.

Самолет еще не покинул захваченный им небосвод, а растянувшийся на земле Бердиев уже вырыл окопчик на двоих и из нарытой земли соорудил в головах бруствер.

— Ну, а теперь чеши напрямик! — отделенный вскочил и окинул всех взглядом. — Не кто как, впервалочку, а бегом во всю прыть! — и Бокерия задал такого стрекача, что перепуганные новобранцы понеслись за ним, как цыплята.

Добежав до леса, они обнаружили под косогором село.

— Это он возле самой деревни палил? — вырвалось у запыхавшегося Мамуки.

— И не говори, чтоб черти его унесли! — тяжело дыша, подтвердил на бегу удивленный не меньше Мамуки командир отделения и припустил еще быстрее. — А ну, ребята, как бы он не вернулся, притащит с со-

бою другого головореза, тогда ладно нас, он и детишек не пожалует!

— В деревне, видать, никого! — промолвил Цинцадзе, словно очищая совесть противника, вьющегося в небесах.

Шмыгнув под деревья, они повалились на землю, словно с победой вернулись домой.

— Пронесло! -- икнул, истекая потом, Ношреван.

— Над нами пронесло, а поди знай, что он там натворил, — горестно покачал головой отделенный.

Немного погодя к ним подошел Винокуров и с ним небольшого росточка ротный политрук Таранов. Круглое и белое лицо Таранова было усыпано веснушками цвета ржи, и всякого, кто смотрел на него, удивляло, как у этого тщедушного человечка тугие румяные щеки только что не лопались, словно у всей роты только и забот было, чтобы это лицо наливалось и спело, или еще могло показаться, что к этому хлипкому тельцу чужую голову приставили. То ли Таранов и сам удивлялся такой несуразице, что неизменно располагало его к веселью, то ли что-то еще делалось с ним, но только, перед тем как рассердиться, он хоть раз непременно успевал улыбнуться.

Таранов и сейчас улыбался при виде вконец измочаленного Бокерия, который попытался подняться, но, видно решив, что нечего разводить церемонии, когда чуть не перебили их всех, отдал честь, не вставая с колен.

Автандил не представлял даже, что улыбка Таранова никакого касательства к его настроению не имела, и хорошо, что политруку было не до устава, тем не менее Таранов заставил отделенного встать и от имени комроты и от своего лично имени объявил ему благодарность за проявленные при выполнении боевого задания находчивость и распорядительность. Не только ребята, но и сам Бокерия еще долго не могли взять в толк, почему после обычной своей улыбки Таранов разговаривал с ними насупившись, а ржавые веснушки на его лице все больше темнели, пока не стали почти лиловыми. И, стоя навтыяжку, отделенный думал сейчас о том, что как первая улыбка политрука вовсе не была улыбкой, так и благодарность его, может быть, вовсе не благодарность.



Наконец политрук скрылся в чаще леса.

— А я, как ты взял влево, поначалу все себе звал, — начал, словно оправдываясь, Винокуров. — Боженко-то, оказывается, из лесу за нами следил. Хвастунов говорит, он на меня показал, зачем, мол, я мешаю бойцу самостоятельно думать и действовать. Мне-то откуда знать было? — пожал плечами младший лейтенант.

— Бокерия, думаешь, знал? — вмешался Цинцадзе.

— Противник твоих ребят не заметил, да и мы не цель для него, когда нас на целое отделение меньше стало. В четвертом отделении четверых ранило, одного — очень тяжело...

— А я о чем говорил! — воскликнул отличившийся в бою отделенный.

— Говорил, говорил! — подтвердил со скрытым смешком Богомоллов.

— Ему все загодя известно! — поддержал Богомоллова Цинцадзе.

Ношреван рассмеялся явно не к месту, и Мамука обернулся, недоумевая, чего тут еще веселиться, когда кого-то ранило тяжело. Не свихнулся ли, часом, друг... Бедняга Ардадзе мигом проникся смертной печалью.

— Я ж говорил, у них что-то стряслось! — вспылл Автандил.

— Выходит, ты не только свое отделение выручил, а весь взвод... Так получается? — возрился Винокуров на Бокерия.

— Какое там взвод, он, считай, роту спас... — поддержал Цинцадзе в надежде, что его командира смутит наконец такое количество личных заслуг.

— Нет, совсем не о том речь, Володя, — попытался сам себе растолковать суть дела комвзвода и повернулся, чтобы идти.

— Аркадий, погоди... а с этим как там? — крикнул вдогонку Мамука.

Винокуров обернулся и удивленно возрился на Амаглобели.

— Ты о ком? — опередив комвзвода, спросил Бокерия.

— Да о раненом... — удивился Мамука, будто сейчас можно было интересоваться чем-то еще.

— Не знаю... Надо в санчасть... Там знают.

При слове «санчасть» Бокерия наострил уши и глаза у него зашныряли.

— Нурадилла!

Чеченец высунул голову из ельничка в аршин высотой и доложил:

— Нурадилла здесь, Бокерия!

— Пошли в санчасть! — бросился к нему Автандил.

— Зачем, командир? — поразился чеченец, будто не он еще час назад метался в жару, да и в жизни своей не знал даже насморка.

Автандил обеими руками обхватил его лоб, словно проверяя на спелость арбуз.

— Свихнусь я, браток, от тебя!

— А чего, не дозрел еще? — живо полюбопытствовал Цинцадзе.

— Температура у него теперь ниже нормальной!

— Почему?! — спросил Вишневецкий в надежде, что Бокерия даже в этой неразберихе исхитрится пошутить и даст позабыть про беду и опасность.

— Сам спроси у него, только жара — ни капельки, это я точно тебе говорю.

— А чему удивляться, фашист как надо заставил его пропотеть, — объяснил Цинцадзе внезапное выздоровление чеченца.

— Твоя правда, ничего тут не скажешь, ты погляди только, что натворил этот немец! — покачал головой отделенный, раздумав идти в санчасть, где сейчас, наверное, делалось бог знает что.

У Мамуки голова шла кругом.

Даже то, что еще держалось в нем на бумажной, некрученной, им же спряденной нити, вдруг оборвалось, и ему захотелось немедленно написать отцу обо всем, что творилось вокруг и что делал он сам. Написать и о том, как, лежа во ржи, он хотел влезть под землю, вгрызаясь в нее и горстями расшвыривая.

«Четырех бойцов ранило и одного тяжело...

Положим, твой сосед или кто-нибудь из родни вдруг обидел тебя... или не обидел, а, напротив, что-

то хорошее сделал. Все бывает, когда рядом живешь. Но ведь этот летчик даже не знал, что четверо этих ребят вообще существуют на свете.

Даже если допустим такую нелепость, что этим ребятам суждена была смерть, — все равно невозможно представить, будто было известно, что сегодня ровно в полдень эти четверо вместе со всеми выйдут из леса и посреди бескрайнего моря ржи очутятся в той самой точке, где палачу предназначено было пролить их кровь.

Иное дело, если бы существовал дом или вообще какое-то место, где бы жили эти ребята, а ему бы велели это место сровнять с землей, или если бы летчик за душой держал зло на всех этих ребят...

Ты говорил, отец, что всему есть причина и не бывает случайного, и когда мы постигаем какую-то закономерность, то по пути что-то может нам показаться лишненным и смысла, и связи... А может быть, просто мне не по силам эту причину почять и есть недоступное мне объяснение? Раз эта беда так глубока и уму неподвластна, тем более у нее должна быть причина, пусть очень сложная, мне недоступная, но причина.

Как хочется поговорить с тобою, отец! Раньше я никогда не спорил с тобой и верил тому, что ты говорил, потому что ты нам объяснял то, что случалось в нашей семье или вокруг нас, и винил ты или вступался за кого-то из нас или за тех, кто нам был знаком.

Помню, как однажды ты говорил... тогда я подумал еще, почему отец любит так рассуждать... может быть, я так подумал, потому что очень люблю нашу маму?.. Ты говорил тогда, что вот украл ребенок яблоко, но это вовсе не значит, что ребенок вор и что он хуже того ребенка, который не крал. «Получается, что вор лучше того, у кого он украл», — накинулась на тебя тогда мама, а ты возразил: «Сперва надо узнать, имел ли вор яблоко, а если яблока он не имел, так выяснить надо, смог ли бы он его заиметь, не украв? Может быть, он украл яблоко у скупердяя, который скорее сгноил бы плод, чем дал другому к нему прикоснуться. Конечно, скупердяй этот вложил много труда, чтоб выросло яблоко, что, однако, не дает ему права уничтожить плод своего труда». Мама тогда еще посмеялась над этим словом «уничтожить». А ты

нарочно и настойчиво это слово повторил, я его и за- помнил. Получалось, что у того скупердяя не было права на то, что он создал, а уж на то, чтоб его уничто- жить, тем более. И ты тогда еще и еще, очень на- стойчиво повторил именно это, а не что-то другое: «Ко- му-то положено было съесть яблоко, яблоко было к тому предназначено, и, может быть, ребенок не украл вовсе яблоко, а использовал по прямому его назначе- нию...»

Похожих примеров сотни и тысячи... И мне хочет- ся, отец, спросить у тебя про этих ребят, ведь одного из них ранили тяжело. Были ль они рождены для то- го, чтобы какой-то немецкий парнишка их украл, ук- рал у них жизнь, уничтожил? Я не приравниваю, ко- нечно, то, что он сегодня здесь натворил, к краже яб- лок, но я говорю, чтоб было понятней...»

Ношреван толкнул Мамуку.

— Чего тебе?

— Пойдем со мной!

— Куда еще? — в самом деле, до гулянья ли бы- ло в этом лесу, где они притаились, как воробьи, ко- торым и чирикать невмочь?

— Пошли потихоньку, чтоб незаметно... — зарде- лись уши Ардадзе, торчавшие из-под каски, похожей на миску.

— Что с тобой?

Ношреван поглядел по сторонам.

— Поди-ка сюда...

Сложив листок, Мамука спрятал его между стра- ницами книги и сунул книгу за пазуху.

— Что случилось?

— Я хочу...

— Чего?

— Мне штаны надо снять, — уши Ношревана за- полыхали.

Запах мочи ударил Мамуке в нос, и только тут он увидел, что брюки у Ардадзе совершенно мокрые.

— Ладно, пошли...

— Вещмешок и противогаз тоже брать?

— Погоди, спрошу у Бокерия.

— Нет, нет, ни слова.

— Ладно, пусть валяются... Пошли!

Следуя за солнечным лучом, крадущимся сквозь листву, они отыскивали залитую светом полянку рядом с развернутую шинель. Боец в мокрых штанах скрылся в кустах, а Мамука растянулся под деревом на траве и погрузился в созерцание.

Уже за полночь они устроили привал в реденьком перелеске. Автандил свернул сигарку, но не закурил, поджидая других. У Ладо бумага для курева в кармане гимнастерки промокла от пота, для закрутки даже сухого клочка не нашлось, и он взял у Вишневого.

— Закурим?

— Закурим.

Голова к голове, накрывшись шинелью, они чиркнули спичками и, вытащив из-под маскировки дымящиеся сигарки, прикрыли их ладонями, словно из колючих зарослей вынесли фазаненка и, оберегая его головку, просунувшуюся между большим и указательным пальцами, заслоняли ее ладонью и подносили к губам.

Туркмен не курил, он насыпал под язык махорки, потому что у него вышел весь запас зеленого, похожего на дробь табака.

— У человека голова на плечах, — проговорил Автандил. — Видно, предки Бердиева были вояки, и, чтоб противнику огонька не заметить, они, видишь ты, додумались до чего.

Бердиев сплюнул, будто его мутило.

— Эту махру не то что под язык, под подошву себе не насыплешь, — объяснил бердиевскую печаль Цинцадзе.

Туркмен повел головой и опустил на колени.

— Ты, Нариман, погоди окоп рыть, нам еще дальше драпать надо! — объяснил обстановку Автандил. Он поцеловал в клюв зажатого в кулаке фазаненка, выпустил дым и при слабом свете месяца разыскал Мамуку и Ношревана. — А вы куда свой табак подевали?

— Он у нас в сумке, — отозвался Ардадзе.

— Лучше его схороните, а то сгниет он у вас в поту и в мокряди, как цинцадзевская газетенка.

— Мы еще ладно, а вот у Леньякова кончится ку-
рево, где он тогда угольком разживется? — повел
плечами Ладо.

— На кой черт мне уголек? — заворчал Леньяков,
не принимая шутки.

— Без огонька твоему ружью и не выстрелить.

— Ребята! — Бокерия выпустил фазаненка себе
под ногу и старательно раздавил его каблуком. —
Смываться пора!

— Догоняют? — спросил привалившийся к дере-
ву чеченец, у которого страх перед немецким стервят-
ником прошел и опять поднялась температура.

— Нащупали и взялись за лес, — поднял палец
Автандил.

— Вот слух у мерзавца! — позавидовал Цинца-
дзе.

— Без моих ушей — тебе крышка, — одернул его
командир. — Нурадилла, худо станет, вещмешок да-
вай нам.

Нурадилла поднялся, держась за березу, при сла-
бом свете луны ее ствол отсвечивал в темноте сере-
бристыми бликами.

Из перелеска — пока они шли им, Ношреван, что
ни шаг, плюхался наземь, словно дерна пласт, — они
вышли на изрытую снарядами целину. И тут небо за-
тянуло тучами.

— Не дрейфь, ребята, господь нас не оставит! —
взбодрил командир свое отделение и с болтающей
на груди каской, вперед лбом, мокрым, словно после
купанья, устремился во тьму.

Ни леса, ни рощицы, ни деревца не попало им
на пути, они вообще не знали, сколько прошли, когда
начался дождь.

Вытопанное поле, уже и не бывшее полем, пре-
вратилось в сплошное месиво, что доставляло Бокерия
несказанную радость.

— Таких чертей перемазанных не то что немец,
родная мать не узнает.

— Думаешь, он явился с тобой познакомиться и
руку тебе пожать? — удивился Цинцадзе. — И пока
тебя в лицо не узнает, не будет стрелять?

— Может, и постесняется, — сообразив, что на-

деяться не на что и грязь их не выручит, командир предпочел обратить разговор в шутку.

— Ложись! — приказал Бокерия, когда, миновав низину и грязь, они стали подниматься по косогору.

— И чего там ему померещилось? — даже ушам больно стало, так напряженно вслушивался Ладо в эту тьму, не обнаруживая в ней ни единого шороха.

— Пахнет! — был ответ.

— Пахнет? — переспросил Кудрявцев, удивляясь, что надо принюхаться, прежде чем сделать шаг.

Вместе с командой Бокерия ветер швырнул им в лицо не только запах пороха, но густую и смрадную смесь из запахов человеческого и конского пота, сапог, шинели, табака и навоза.

— Это от немцев или от своих? — словно и не шутя, солидно осведомился Цинцадзе.

— А черт его знает, — не удержался Автандил.

— А ты внюхайся получше.

— Нюхай тут, не на блюде под нос сунули.

— Поверь мне, Авто, — ласково проговорил Ладо, — у тебя нюх просто собачий, я серьезно говорю, тебе немцев нюхнуть разок, ты в жизнь их ни с кем не спутаешь.

— И не спутает! — подтвердил Вишневатский.

— Все это прекрасно, но что сейчас делать?

— Ну, если уж ты не знаешь... — растерялся Кудрявцев, уверенный, что с его охотничьим нюхом Автандил должен что-то учуять.

— Пока он не поймет, кем пахнет, немцами или нашими, двигаться нечего, — порешил Ладо.

— Может, разведчика вперед выслать? — спросил, распластываясь на грязной земле, Юдин. Как только этот запах бросился им в лицо, он выхватил у Богомолова ружье и теперь прижимал к себе.

— Мы сами, наверное, и есть разведчики. А так зачем бы нас вперед всех пускать? Может, правее взять? Наша рота той стороной идет, нам бы дождаться, и двинули б дальше вместе, — отделенный не решился брать ответственность на себя и взял по косогору вправо.

Наверху вместо своей роты они обнаружили село, из села доносился хрипловатый лай.

— Глядите, собака! — Бокерия был так обрадован и удивлен, что даже своим ушам не смел верить.

— Собака! — с большим удовольствием произнес Гасан, и это было уже третье слово, которое он выучил по-русски после «давай» и «поехали».

— Слава богу, что не твои азиатские сапоги на тебе, а то от пса этого спасу бы не было, — напомнил Ладо историю автандиловой любви, поведенной отделению во дворе конезавода.

— Кто идет? — окликнули в темноте.

— Свои! — уверенно отозвался отделенный. — Винокуров там?

— Он подальше будет! — но что в этой тьмнице означало «подальше», понять было нельзя.

— Подальше собаки или поближе собаки? — обрел Бокерия ориентир.

— Подальше! — в голосе мелькнула усмешка.

— Если не он первым ворвется к Гитлеру в кабинет и не схватит фюрера за глотку, я себе уши обрежу! — пообещал Кудрявцеву Цинцадзе.

— Разве только эта тварь спохватится и такого конца для себя не допустит, — в дальновидности Гитлера москвич сомневался, но что до Бокерия, то в возможностях их отделенного сомнений быть не могло.

Дождь стал потише.

За селом в лесочке, тоже реденьком, ребята, соединившись уже со своей ротой, набрали на походную кухню, и прежде чем отыскать поваров, Бокерия различил запах котлов, поварешек, крупы и пригоревшего масла или еще какого-то жира.

Слева от кухни, чуть повыше того места, где кончалась непролазная грязь, в нос ударило запахом пороха и родимой конюшни. Свернув сразу в глубь леса, они обнаружили замаскированные в ельнике орудия и лошадей. Тут-то Бокерия и понял, откуда был этот запах, всполошивший его на косогоре...

— Кто идет? — выпалил часовой сквозь дремоту.

— Свои! — обрадовался отделенный.

— Автандил, хорошенько запомни этот запах! — посоветовал Ладо.

— Сам знаю...

— Русская лошадь той самой рожью кормлена,



которой пичкал тебя вчера этот фашист, только боюсь, когда эту рожь через лошадь пропустишь, не отличить тебе ее от фашистской ржи и ячменя.

— Мне их в жизни больше не перепутать, — успокоил друга Автандил, соображая по звуку шагов за спиной, что пока его догонят, он успеет затянуться еще разок, и, озлясь, что в село они не зашли, словно в этом селе его родня обитала, раздраженно стал шарить в кармане махорку.

С той минуты, как Ношревана с Мамукой выгрузили из эшелона и погнали по длинной дороге на конезавод, и до наступления ночи их снедала усталость, пока силы совсем не иссякли; от бессилия избавления не было, и, не ощущая, где усталость, а где передышка, они, как мешок, волокли свое тело, в нем болталась их битая плоть и битые кости, и ныло тело от боли, и уже не болело, и было это тело свое и будто совсем не свое. Сколько ни бегали они и ни ползали, таща на себе оружие и снаряжение, сколько ни рыли траншей и окопов, стирая ладони в кровь и сбивая ноги, все это больше усталостью не называлось. Это было то самое, что происходило с ними и в них после сна или пищи, и после всякой такой передышки еще трудней было делать то, что положено им было делать.

И сейчас они шли, спотыкаясь, увязая в грязи, бегом или шагом — и не отличить уже было одного от другого. Лес, поле или то, что когда-то было полем, рощица, топь и то, что было недавно селом, шум, шорох, лай собак и конское ржание, мат, команда, шипение и шепот были так же однообразны, как темнота, дождь и ветер.

Приказали ступать еле слышно, осторожней, каждый шорох опасен, но что от приказа могло измениться? Будто можно быть зорче... И осторожней? Дождь пошел? Ну и пусть! И какая беда, что до нитки промокли? — нам и не было сухо, и по грязи мы тащимся, будто связаны ноги. Тучи месяц сглотнули? Ну и что? Он и так на ущербе, а теперь стала полная темь. Ну а день бы настал — разве стало б виднее, далеко ли идем и зачем?

Когда, под конец, их остановили посреди какого-то поля, разбили на группы и велели рыть землю, Нош-

ревана удивляло лишь одно — почему их разбросали так далеко друг от друга, будто ближе нельзя? Да ладно и это. Но зачем землю рыть с такой быстротой? И быстрее еще... Будто можно быстрее?

— Рассвет скоро... — прошипел Бокерия, кротом вгрызаясь в землю.

— Ну и пусть рассвет, — шепотом отозвался Мамука. — И рассвету, что ли, не быть?

И не все ли равно, в темноте или засветло землю рыть, это — как письмо писать, можно быстро, а можно и побыстрее, и что может быть лучше, когда все уже кончилось, только надо ногою на заступ нажать — и он сразу весь уйдет в землю, если только земля мягка, и тогда можно выгрести много земли и насыпать ее с того краю, что ближе к противнику. Хотя нет, поначалу сверху срежешь дернины и отложишь в сторонку — дорог дерн: когда за лопатой лопату вровень с носом навалишь земли, сверху надо прикрыть ее дерном, чтоб травую к противнику. Вот тебя и не видно. Опустился на дно — и весь свет где-то там, наверху, а ты заперся в доме, у тебя — все четыре стены и пол. Только вот потолок... На потолке хорошо б, чтоб от протекшей сверху воды расползлись два подтека, и тогда в их бесформенных очертаниях увидеть можно все, что захочешь. Еще в потолке пробегут черные щелки от выскочивших сучков, как в передней комнате в Гулзоди. Не все щелки, а только лишь три, друг от дружки — на пядь, а слились в одну линию — словно звезды в созвездии Весов.

В этом доме Мамука уснул, или всем только кажется, что уснул. Его не станут будить и расспрашивать, спасибо, что дома, не тормозите мальчишку. А ему самому разговаривать — нету сил. И о чем говорить, все одно, все одно, словно дан человеку язык, чтоб молоть и молоть.

В доме тихо. У всех ухо к стене. Кто-то должен принести нам снаружи недобрую весть. Или снова навалится дьявольский грохот...

Прилетит этот малый с крестами на крыльях. Уже слышен свист крыльев, или это Мамука у себя взаперти чудом слышит его приближение?

— Эй, Амаглобели!

Это сверху зовут, с потолка, слыханное ли дело, чтобы с потолка звали.

— Эй, Мамука, бичо!

Опять сверху, а ведь гость зовет, став перед домом, или возле калитки, или из-за плетня, или с тропки между заборами. Нет, это либо сосед, либо кто-то из близких.

Сквозь потолок проеунули руки, шарят по комнате и Мамуку трясут. Это ж надо, чтоб такие длинющие руки, дотянулись сквозь крышу, сквозь потолок, а ведь я сижу на полу.

— Заснул, что ли?

Это голос Бокерия. Голос Бокерия, как голоса братьев, он не спутает ни с чьим на свете.

— Входи, Автандил! — пригласил он, обрадовавшись.

— Да куда входить? Совсем малый спятил. Куда мне, ты тут один еле влез. Поглубже вырыть не мог? А случится что?

— Что случится?

— Я почем знаю? Все может быть.

— Почему? Что-то узнал?

— Ничего не узнал. Наоборот, тишь кругом, ребята, что сюда пришли раньше нас, удивляются прямо, говорят, это хуже, не к добру.

— Тихо — хуже?

— Во-во, мелковат окоп у тебя, поглубже б копать, — отделенный, склоняясь над окопом, перевел взгляд на небо. — Хотя уже поздно... Светает.

— Хорошо, что светает.

— Хорошо-то хорошо, если только не застят нам этот свет... Ты меня слышишь, Амаглобели? Что ни случится, пока я не кликну тебя, голову не высовывай, давай-ка еще подрой, на корточках долго не усидишь... И оружия пока не видать что-то...

— Да-а-а...

— Что да-а-а? Ты ж без оружия или забыл?

— Н-е-е-ет... но ведь патроны...

— Совсем малый свихнулся... Без ружья-то патроны — зачем? Ты что?

— Ну да...

— Ты, часом, гранаты не обронил в лесу?



— Нет, они тут со мной, — икнул, высунувшись из-под земли, Ношрewan чуть подальше от Автандила, распластавшегося на перерытой земле.

— Молодчина, Ардадзе! — одобрил командир.

И не сразу обалдевший от недосыпа и усталости Бокерия сообразил, что для Ардадзе не то что его похвала, но даже орден на грудь не имел никакого значения. «Они думают, полевые учения идут, ну, тем лучше».

— А что мне с ней делать? Далеко бросать — не получается у меня...

— Потренироваться надо сперва! — вспомнились вдруг Мамуке слова Винокурова, три дня назад сказанные Хвастунову.

— Пускай тренируется... — кивнул Бокерия. — Только не здесь! Что бы там ни случилось, не здесь! — твердил он, словно боясь, что его сейчас стошнит. — С оружием старшина сообразит что-нибудь, а пока ничего нету... Ардадзе, там возле тебя Цинцадзе, и Мамука тут, и я с вами рядом... Слышишь, что говорю?»

Голова Автандила, лежавшего на бруствере, убралась, и открылся потолок, подернутый чуть подсиненной влажной белизной.

Громыкнуло...

«Почему? Откуда раскаты, когда сквозь сырые белила пробивается синева?»

За громыханьем где-то вдаль грянул удар грома.

«Отцу напишу. Тэкла ничего тут не смыслит: разве гром может греметь в чистом небе? Вчера ночью шел дождь, а сегодня... Нет, отец рассмеется... как всегда, улыбнется, будто обманули его в лучших надеждах. Нет, не буду писать!..»

Опять прокатился раскат, вслед за ним, встряхнув стены, в окоп скатился звук сильного залпа.

«Все равно напишу... Оказывается, бывают исключения... и раз они бывают...»

И тут началось. Громыхая и грохоча, покатались раскаты, но не в небе вверху, не в лесу, а тут, по земле, совсем рядом.

Однажды молния угодила в самую высокую гору возле Гулзоди, спалила чайные плантации, лес погиб начисто, только один старый дуб уцелел, весь искореженный, но и его молния зацепила. Однако и тогда



их дом не шатало так, как сейчас. А сверху еще земля сыплется.

Сырой с синевой потолок просыхает, белизна все ясней, но и грома с неба все больше, и так он слепит и оглушает, что глаза не верят ушам, а уши — глазам, словно два брехуна повстречались — кто кого перебрешет.

Сейчас впереди громыкнуло, где край неба был чист, и видно, как рвет его молния. Теперь за спиной ударило в землю, еще и еще. И больше не разобрать, какая где сторона, все валится, рушится, с неба сыплются черные комья земли, будто градом побитое воронье — стаями и по одной. Земля, могучая и неподвижная, вдруг совсем разболталась. Мамуке казалось, что он в доме скрыт, но дом был не дом, а котел, — котел висит над огнем, и пламя его со всех сторон лижет, пламя балует, бушует, раскачало котел, вот сейчас опрокинет. Мамука локтями уперся в стенки — вдруг котел опрокинется, перевернется, и он, словно мошка, вспыхнет в огне. Все сильнее он вжимается в дно, головой уходя меж торчащих колен, пока нос не уперся в ботинки в заскорузлой земле и в портянки, разившие потом.

От земли и травы, от камней и деревьев — от всего, что пылало вокруг котла, плясавшего на огне, шел такой густой и удушливый дым, что вонь от ботинок с портянками вдруг показалась родной и уютной, как родимый очаг или казенный тюфяк в общезитии.

В котел вдруг ворвался знакомый рев самолета — знакомых вообще в этот раз много собралось: сбежали, слетелись — и бойцы все знакомы, и крылатый малый знаком — все они жаждали застать Мамуку дома и в расплясавшихся этих котлах наварить каши побольше. Со скаткой на оголившейся спине — гимнастерка вся вылезла из-под ремня и задралась — Мамука свернулся улиткой, и тут на него обрушилось сверху неведомо что, но совсем не так больно и тяжело, как могло оказаться в этом вое и грохоте. Обвалилось на него или залило?.. Натекло густой теплой кашей, и если до этой минуты в котле у Мамуки места хватало, то теперь котел переполнился до краев. В ляжки Мамуки впились чьи-то ногти, — значит, пле-

снули к нему в котел Ношревана — зачем их поврозь варить и перемешивать? Можно и вместе.

— Ма-му... помо... — повторяла голова Ардадзе, вдавленного в самое дно, но перепонки будто полопались, уши не слышали голоса, и до Мамуки слова доходили сквозь боль от вонзившихся в тело ногтей, но и эта боль оборвалась, едва молния, угодив в переполненный, опять на огне ходуном заходивший котел, засыпала его раскаленными комьями. Век спустя, когда стих треск разломившегося мироздания и потухли уголья, из-под земли донесся хрип Цинцадзе:

— Авто! Лева!

— Э-у-у-у! — возопил командир отделения. — Ты жив, парень?

— Не слышу ничего... Оглох, — послышалось бормотание Вишневого откуда-то издалека, еще дальше Ладо.

— Убили! Убили! — несло из утробы земной мычание Цинцадзе.

Все пространство между Мамукой, вжатым в самое дно щели, и Ношреваном, вбитым туда вниз головой, было забито землей и дерном, но вопли, хрипы и бормотание проникали даже сюда.

— Ой, ребята! Ладо! Ладо!

— Отстань от меня! Ты погляди, что творится, — прохрипел Цинцадзе, еле ворочая языком.

— Есть тут кто-нибудь? — прокричал, оглохнув, Вишневский.

— Алла! — простонал с другого боку Гасан.

— Ложись, сопляки! — строгим сигналом тревоги прокатилась команда.

Перевод И. БОРИСОВОЙ

Окончание следует

С ЧЕМ ТЕБЯ СРАВНИТЬ?

Имя священное — Ленин!
С чем сравнить тебя? Я не знаю...
Ведь привычного слова — гений —
Слишком мало, оно не вмещает
Все величие твое. Я растерян,
С чем сравнить тебя, я не знаю!..
Не могу я назвать тебя богом —
Люди верят в тебя сильнее.
Солнце — бог поколений многих,
Но планету объять всю не смеет,
Только днем над землею светит,
Ты — и ночью, и днем нас греешь.
Ты и ночью, и днем нам светишь,
Ярче звезд, ярче солнца сияешь,
Всем народам на нашей планете
Путь в грядущее освещаешь.
Не смогу, не осмелюсь ответить,
С чем сравнить тебя? Я не знаю!..

НА БЕРЕГУ ЛИАХВЫ

I

Молча слушаю шум волн твоих, Лиахва.
Сколько спето тебе песен и сказаний!
О былом мне шепчут волны мягко,
И трепещет луч воспоминаний.
Словно карты, тасовало время мысли,
В дальних странах вспоминалось мне не раз,
Как мальчишкой я сидел у речки быстрой
И хотел понять ее рассказ...

II

Пятна света бродят в отраженных листьях
Призраком воспоминаний, сердцу милых.



И Лиахвы волны серебристые
Служат сердцу струнами фандыра.
Вздохи волн мою волнуют душу,
Тишину вспоров хрустальным лезвием,
Зажигают в сердце непослушный,
Озорной пожар Любви, Поэзии...
Только здесь, наедине с рекой, поймешь ты
Красоту мгновений, всю их мудрость;
Песней волн искристых замороженный,
Не могу не петь я в это утро!..

III

О чем ты думаешь, красавица Лиахва?
О силе волн своих небесной чистоты?
Могучих крыльев их неудержимы взмахи,
И этой силою гордиться вправе ты...
И все же осторожна будь, родная, —
Ведь если кто-то обуздает твой поток,
То дум твоих поэты не узнают
И не поведают тебе своих тревог.
Ты в толще скал окажешься, в тоннеле,
Где волны смолкнут, взятые в гранит;
Слиянье дум в твоём пленённом теле
Земля биеньем пульса ощутит.
Подаришь силу волн своих турбинам...
Могучая Лиахва, за твой труд,
За то, что зацветут сады в долинах,
Земля и люди гимн тебе споют!..

* * *

Часто думаю я, отчего же
На планете, где жить все тесней,
Нет и двух абсолютно похожих —
Ни народов, ни просто людей?
Но, быть может, жизнь тем и прекрасна,
Может, в том её истинный смысл,
Что народы и люди — все разные:
И душою, и сердцем, и мыслью...

Перевод с осетинского Николая ЛЯТОШИНСКОГО

СОЛОВЬИНАЯ ПЕСНЯ

Свет белой ночи призрачен в июне;
Сверкает в дымке невяская вода...
А соловьи давно поют на юге,
Звенящей трелью заливая даль.
Поют в тоске,
 поют в самозабвенье,
Таясь в тени разросшихся ветвей...
Я слышал, что от собственного пенья
Изнемогая, гибнет соловей!
Откройте окна —
 день такой чудесный!
Но почему так ясно слышу я
Родные звуки осетинской песни
В щемящей сердце песне соловья!

* * *

Когда «люблю» впервые ты сказал,
Я отвернулась чуть ли не с презреньем,
Я отводила от тебя глаза,
Но все же растерялась... на мгновение.

Когда ты это слово повторил,
Я улыбнулась, искоса взглянула
Тебе в лицо. И вдруг лишилась сил...
Волна тепла мне сердце захлестнула.

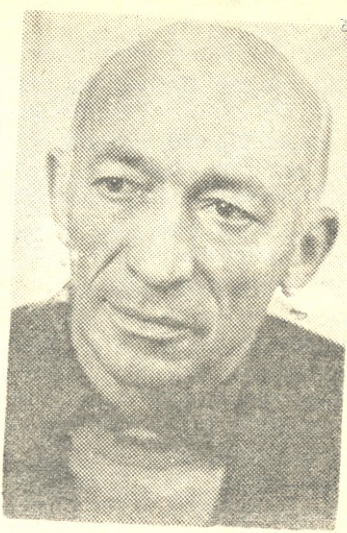
Грошась, ты меня поцеловал.
Всю ночь, всю ночь, до самого рассвета,
Я не спала! Пылала голова,
Терзала мысль: а не любовь ли это?!

Перевод с осетинского Галины ПАВЛОВСКОЙ.

В Ъ Ю Г А

ПУЛЕМЕТНУЮ очередь, для меня давно предназна-
 ченную, получаю к исходу 1916-го... Вижу
 плохо, как сквозь туман, то ли жив, то ли уже на том
 свете обретаюсь — и свет тот такой же мерзопакост-
 ный и холодный. Когда помирать начинаю — легчает,
 боли в ногах отходят, желудок перестает сухарей про-
 сить, очнусь — сызнова маюсь, смерть призываю. Куда-
 то волокут меня, куда-то несут, кто-то жалобно бор-
 мочет: — Для чего сюда? Разве виноватый я, что в
 госпитале только двести мест? Кладите куда попало,
 вон их сколько на земле валяется. — А другой басом
 утробным: — Кормят голодом, поят холодом! Что мы,
 собаки, что ли, мать вашу?! На свою койку клади сол-
 дата, лекарь, а то враз пулю схлопочешь... — От ки-
 пятка, чья-то рука прямо в горло льет, в который раз
 на дерьмовую эту землю вертаюсь и вижу — на кой-
 ке я, и над головой вместо туч потолок белый. Ноги
 пудовые, будто не мои. Засыпаю. Просыпаюсь. Не
 поймешь, где сон, где явь. Передо мной жизненные
 узлы развязываются. От турок, пятки подмазав, вместе
 с остальными бравыми ребятами к Батуму дра-
 паю. Возле землянок с плоскими крышами армянские
 бабы мертвые лежат с животами распоротыми, и тут
 же младенцы не родившиеся, с матерями пуповинами-
 веревочками связанные. Голос прапора, нашего взвод-
 ного слышу: — Они на спор, кто внутри — мальчик
 или девочка? Люди! Звери на такое не способны. —
 В атаку бегу с винтовкой наперевес. Передо мной
 широкая спина турка вихляет, не догоню никак, уже
 дыхание спирает, а он все рывки из-под штыка моего
 делает, вот горазд бегать, сволочь! Турок оборачива-
 ется и вдруг садится, руки подняв. Поздно, турецкая
 твоя душа, не остановиться мне на замахе. Штык пря-

Михаилу Юрьевичу Лохвицкому исполнилось 60 лет. Наша литературная общественность тепло отметила эту знаменательную дату русского писателя, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с Грузией. Редакция и редколлегия «Литературной Грузии» поздравляют Михаила Юрьевича, в прошлом сотрудника редакции журнала, и впоследствии не терявшего с ним творческих связей. Романы, повести, рассказы М. Лохвицкого широко известны читателю не только в Грузии и других братских республиках, но и за рубежом. М. Ю. Лохвицкий также и автор переводов на русский язык произведений грузинских писателей.



Мы предлагаем читателям фрагмент из нового доку-

ментального романа М. Ю. Лохвицкого «Солнце в крови», который в скором времени выйдет в свет во все-союзном издательстве «Политиздат».

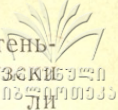
мо в дыхало ему, он хрипит, сучит ногами. Васья-рязанец, из новоприбывших, зачем-то за руку его берет, на ладонь смотрит. — Сапожник, как и я, сапожник, тудуть твою! — Сапожник, — передразниваю я, вытирая штык полрой шинели, — а ты воображал, принцы с нами воюют, — вон сколько их валяется, сапожников, пекарей, пахарей. — Над головами рвется шрапнель, мы падаем и ползем к яме. Васька завел свою музыку и не заткнется никак. — Сапожник ведь... за что ты его? — Смолкает наконец. Гляжу, а он не по своей воле умолк — осколком висок разворотило... Война, чтоб тех, кто ее начал, осиновым колом в могилу вбили! Угораздило меня в армию, да еще добровольно! Объявили ссыльным — желающим дозволяется мобилизоваться на фронт, я тут как тут, с радо-

стью. На морде патриотизм, за пазухой — лишь бы из Сибири выбраться, а от солдатчины уйдти, как же! В теплушках двери на запорах, на решетках, а на тормозных площадках казаки амурские, у каждого патрон в казеннике. Своих партийных потерял, где они, что делают? То ли заблудился среди проволочных заграждений, то ли судьба кривая — в такой полк заслала, где эсдеками даже издали не пахнет. С солдатами толкую, настроения прощупываю, против войны настраиваю. С кем ни перекинешься, каждый солдат, как и я, мозгой в одну сторону ворочает, воевать никто не желает, домой хочет. Чего его агитировать, когда пуля, тиф, вша, голод и прочие окопные радости ему и так в самые печенки вбили. Помирать на Туретчине невесть за что никому неохота. Все злые, а я и того злее. Однако злобись не злобись, а в турок стреляем, ибо если не мы их, значит они нас. Все мы на войне одной сетью опутаны... Лежу я, отсыпаюсь, усталость с себя снимаю, и на душе через пищу горячую легчает. Стал по сторожам зыркать. Раненых!.. Койка к койке, и на полу — кто на матраце, кто на шинели, каждый день когонибудь выволакивают, чтобы могиле предать. Говорю я мало, больше слушаю. Все то же, о чем и на позициях солдаты балакают — царица-стерва немцам шпионские сведения передает, и потому германец нас бьет, турками тоже немецкие генералы командуют, при дворе царском мужик Распутин силу имеет большую, потому что колдун он и, окромя всего, кровь умеет заговаривать, а царица, хоть и стерва, все же мать, над сыночком трясется, у которого болезнь — кровь не сворачивается. Другой письмо из дому вслух читает, как жена, дети жмых едят вместо хлеба, да и жмыха недостает. В углу сперва бывшему главнокомандующему Воронцову-Дашкову отходную поют в выражениях вполне хороших, потом на нынешнего великого князя Николая Николаевича перебираются. Не боится солдат полевой жандармерии, молодец! С ним в перепалку какой-то идол встречается. — Граф Воронцов-Дашков, — заявляет, — бестолочью был, а великий князь — умелец, вишь, как он нас через Карс и Эрзерум аж к Трапезунду вывел. — Вот лизоблюд! При чем тут великий князь? Просто надоело солдату русскому битым быть.

Отступать — погибать, наступать — хоть и погибать, так хоть без позора, вот и погнались турка. Хотел и я высказаться, да случайно сестру милосердия прихватил — смугленькая, грудастая, с глазами большими, будто от рождения огорченными. Она возле унтера молоденького сидит, тоже черный, армянин, видать. Он на нее смотрит жалостно, она говорит ему что-то тихо. Наверно из армянской дружины. Дружины те добровольно дашнаки сколотили, а подчиняются они нашему командованию. Глядя, как ихних женщин и детей турки режут, добровольцы тоже звереют, пленного если возьмут, и глаза ему выколят, и руки поотрубуют. Мстят... Чего турки взъелись на них, по какой причине обет дали истребить всех поголовно? От ненависти к иноверцам? На всех христиан в мире зуб точат, и обрушиваются на тех, кто рядом, кто слаб? Нас на евреев и инородцев царь науськивает, султан турок натравливает на армян, грыземся меж собой, а правители в стороночке, миру исподники свои чистые показывают — глядите, какие мы непорочные... Во дворе замешательство послышалось, в дверь белобрысенькая сестричка милосердия заглянула, глазками весело поблескивая, сказала что-то, и чернявая тоже улыбку по лицу распустила, вскочила, и топ-топ каблучками, юбку на бедрах справляя. Начальство, что ли, прибыло? В самом деле чины какие-то появились, кто при погонах, кто в штатском, за ними доктора юлят. А сестры милосердия, гляжу, вокруг одного увиваются, прямо-таки льнут к нему. — Ваше сиятельство, ваше сиятельство, — щебечут. Что-то в лице его, красивом, смуглом с бледностью, знакомое почудилось, не иначе встречался он мне. Вдруг меня будто колом по голове — Учитель!* Как его в Трапезунд занесло, он ведь в енисейской ссылке обретается? Близнец, либо двойник? Если он, признать меня должен. — Здравствуй-те, ваше сиятельство, — от надежды голосом придушенным говорю. Он живо — на меня. Ус прикусил, глаз дергается. Того я не докумекал — морда-то моя бородой обросшая, мать родная не узнала бы. — Про-

* Учитель — П. А. (Алеша) Джапаридзе.


сти, братец, запомнил. — Степаном зовусь, вы много лет тому грамоте меня обучали, книгу дали вроде евангелия... — Сощурился, в глазах искорки заплясали. — Степа-ан, ну же, как же! Вот встреча! Господа, Степан был конюхом в нашем имении. — И пошел расписывать, как все мужики любили его отца, и какой я был исполнительный и верный, и какого коня-кабардинца выходил, когда он ногу за-сек... У меня глаза выкатываются, до чего складно врет, прямо-таки соловьем щелкает. А он пригибается в лоб меня поцеловать и шепотом: — Ходить начнешь, сыщи меня, князя Баратова спросишь из Красного креста. — Глаза строже стали, с крепким намеком, из чего я враз допер, что беглый он и жандармерия по нему плачет. — Так точно, — громко говорю, — постараюсь побыстрее оклематься и снова в строй. А как папенька изволит поживать, ваше сиятельство? — Понравилось, видать, ему, что я такой переимчивый и его не подвел, довольно засмеялся. — Благодарю, Степан, за память. Папенька в добром здравии, только далеко, в Швейцарии он. Недавно сообщал — новую книжку пишет. — Ну, шельмец, это ведь про Ленина он! Меня аж в пот бросило. Как ушел он с другими чинами, сестрички — ко мне. Расскажи да расскажи им про князя, и какой маленьким он был, и есть ли жена или невеста у него. Я на выдумку не больно горд, да и страшусь ляпнуть несусветное, посему больше мычу, телиться остерегаюсь, беседу на другой предмет перевожу — как бы побриться мне, и какая погода за окном, и что нового на белом свете. Чернявая сама постригла-побрела меня, я ровно бы ненароком ее погладил. Она засмушалась, по лицу красные пятна пошли — Не надо, что вы! — Конечно, — от внезапной злости вырывается у меня, — мы не князья, где уж нам. — Она совсем разобиделась и ушла, стуча каблучками. Зря, конечно, я так. Но все-таки в чем-то моя правда. Лежи Учитель вместо меня на этой койке и будь он мужиком или мастеровым, черта с два вокруг него сестрицы суетились бы так. В породах различие, как у коней — рысак орловского с ломовой лошастью даже подслеповатый не спутает. А как оно будет после революции, при всеобщем равенстве, кто будет моей парой — все та же



прачка или швея? Или вокруг нас засуетятся чистенькие, которые на фортепианах бренчат и по-французски лопочут? То ли свою породу начать выводить, то ли потомственных чистопородных под ноги, чтобы сравниваться не с кем было?.. В дверь белобрысая сестричка протиснулась, меж коек прошла, на меня покосилась, фыркнула вдруг негромко, пальцем погрозила и, как пришла, так и выскочила. Смейся, смейся, милая, коли весело. Чего они только, когда ходят, каблучками стучат так?.. Ноги мои что-то снова отяжелели, огнем полыхать стали, уж не газовая ли гангрена? Будьте вы все прокляты!..

Не объявись в лазарете Учитель, быть мне покойником или безногим. Раненых тысячи, врачей раз-два и обчелся, солдаты без ухода, без присмотра на холодной земле валяются, а я в тепле, на койке, и выхаживают меня, конюха князя Баратова, как сыночка родного. Лежу, поправляюсь, о том-другом думаю. Артиллерист один, подслеповатый, белобрысый, рядом со мною он лежал, у сестричек книжку выпросил, уткнулся в нее и разговаривать перестал, ровно бы контузило его. Прочел, вздохнул, мне протягивает: — Хочешь? Это поэта Блока. — Блока? Еврей, что ли, или немец? — Артиллерист морщится. — Да русский поэт он, русский! — Взял я книжку, странички перекинул. «Ты, как младенец, спишь, Равенна, у сонной вечности в руках...» Тоска смертная, почище хлороформа, ни смысла, ни понятия. — Эх,—говорю, — разве это книжка! Вот я читал одну... — Какую? — спрашивает. — Хорошую... Там такие слова, до самого сердца доходят, а в твоей что? «Тот дж-джентельмен, — тьфу, язык сломать можно! — ушел. Но пес со мной бессменно. В час горький на меня уставит добрый взор, и лапу жесткую положит на колено, как будто говорит: пора смириться, сёр...» Сёр, от сорить, что ли? — Артиллерист сызнова вздыхает. Уцелело ли мое «Что делать?». У хозяйки своей бакинской оставил, наказал: — Сховай, чтоб не нашли, и сбереги. Вернусь — отблагодарю... — Поправился я окончательно, к выписке готовить стали, а мне без радости

это, почему-то ко всему равнодушие получил. Вышел из лазарета с сидором тощим за плечом, в кармане предписание отбыть боевому орлу в родной, горячий бимый полк, стоящий на передовых позициях. Что ж... Сперва, конечно, к Учителю следует, помимо другого прочего, несу ему на кончике языка нежные приветы от сестер милосердия. Ковыляю себе потихонечку, по сторонам глазаю. Улочки в Трапезунде узкие, выются запутанно, деревянные домишки тесно стоят, и лавка к лавке приткнута. Мне за речку, к большому каменному дому — там комитет Красного креста расположен. Слева гора Колат-Даг лесом, как накидкой, обернута и на голове вроде папахи облачко. Впереди мечеть Айя-София, бывший греческий собор. Справа, под обрывом — гавань, мачты-иголки парусников воздух царапают, пароходы дымят густо, за бухтой, вольный ветер белых барашков на море пасет. А надо всем горячее солнце нависло. Учителя на месте не оказалось, сказали: — Князь скоро будет. — Что ж, подожду. Огляделся — у дома деревья стройные, на свечи из зеленого воска похожи, кусты какие-то, вроде лавра. Может, лавр и есть, сорви листочек, и в суп. Посижу я лучше на крыльце. Сижу, ноги под солнцем грею, сигарку из турецкого табаку смолю, и тоска меня взяла такая смертная, что хоть белугой реви. Опять, думаю, в полк, снова пред красные очи пропойцы ротного, снова на брюхе под пулями ползать, прокалывать штыком чьи-то внутренности, ждать, когда тебе самому голову оторвет... И еще своему приговоренному к смерти соседу-солдату петь под сурдинку акафист о том, что война зло, капиталистами сотворенное... Смотраться бы от всего этого куда-нибудь подальше! Может, в самом деле записаться в дезертиры? В полку, поди, не знают, жив я или помер, и в лазарете к чему проверять, добрался ли до своего полка конох князя Баратова. Через заграды только каким макаром просвететь? Документик на это нужен... Тут, пожалуй, Учитель мне помощник, его попрошу. Будет бумажка, дошагаю до Баку, там имя сменю и полечу куда глаза глядят, вольным соколом, поминай потом, как звали Степаном... Снизу по улочке всадники вскачь приближаются, копыта конские на стены домов сухие комья отбрасывают. Издали узнаю —



первым Учитель скачет, в седле словно влитой сидит, смеется, отставшему, обернувшись, конец уздечки указывает. Где это он кавалеристом лихим стал? Подскакал Учитель к дому, конь остановился как вкопанный, узду грызет, пену с губ наземь роняет, а Учитель хохочет чего-то, меня не замечая. Тут и второй подъехал, смуглый, мордастый, тоже как мальчишка зубы скалит. Штабс-капитан, а держится генералом. Поднялся я на всякий случай, во фронт вытянулся; снял шапку. — З-здравия желаю! — Учитель из седла прямо на крыльцо. — А-а, Степан! — Теперь сразу признал. Он штабс-капитану: — Гриша, это наш, бакинский. — Чего-то в голову мне втемяшилось, пальцами прошелся по руке Учителя от локтя к плечу, и обнаружил мускул тугой-претугой. Ничего, жилистый, такие выносливыми бывают. Он движение мое по-своему понял и меня по плечу дружески погладил. — Рад, рад, что все обошлось. Не забыл, как ты вместо меня в арестный дом сел. — Штабс-капитан тем временем с коня слез, лошадей обеих к деревьям отвел, привязал, подпруги ослабил, и к нам, руку мне протягивает. — Корганов. — Оттого, что ладные они оба такие, и словно бы забот-хлопот не знают, у меня на душе тоже просветлело. Повели меня к лавочке. Сели, сами закурили, меня папиросой ароматной угостили. И посыпали вопросов град: и корпуса, полка какого я, и у солдат что за настроения, и не встречался ли я с Осепяном и Малыгиным, что насчет организации революционной группы думаю... Снова опустел я, интерес к разговору потерял, и почудилось мне, будто меж мной и ими большое поле легло, они на одном краю, я на другом, и от дальности расстояния ничего не слышу и ничего не понимаю. — Ты что молчишь, Степан? — спрашивает Учитель. — Ни к чему мне все это, — говорю, — драпануть с фронта желаю, нету больше сил в мясорубке вертеться. Мне бы только документик, чтобы за шкуру не схватили. — Переглянулись они с удивлением, сидят, молчат, каждый по-своему, вижу, думает. Корганов хмурится, не иначе в дезертиры от революционной работы меня зачисляет, а Учитель усмехается чему-то. — Документ будет, — говорит он наконец, — поедешь за перевязочными материалами от Красного креста. И еще по-

ручения дам. — Это можно, — соглашаюсь я. Он снова усмехается. — Ты Андрея Чумака помнишь? — Еще бы, — говорю, — не помнить, мы ведь у него в Елисаветполе, познакомились. — А знаешь, где он теперь? В Америке живет. — Учитель уходит в дом и возвращается с конвертом потрепанным. — Письмо давнее, — говорит он, — долго меня искало. А дела у Андрея такие... — И принимается рассказывать про то, как Чумак, в Америку перебравшись, на шахтах работал, потом перебрался в город Кливленд, оттуда в городок Кеноша, а последнее время в профсоюзные лидеры вошел. Английский изучил, проживает в собственном двухэтажном доме, детей у него уже пятеро... Я словно сказку слушаю, не знаешь, то ли верить, то ли нет. Хочет Чумак домой вернуться. Как революция разразится, так он всей семьей и с товарищами выедет. На доллары заработанные наймет пароход и загрузит его подарками для российского пролетариата. Еще Чумак познакомился с американским писателем Джеком Лондоном, тот часто в гости к нему приезжает, спрашивает про революцию, про Елисаветполь... Учитель читает из письма: «Вы только не подумайте, дорогой Прокопий Апраксионович, что мы, здешние русские, забыли о родине. В Америке пролетариат тоже борется за свои права, разница лишь в том, что у вас там царь, а здесь царя нет и мы выступаем открыто. Хотя я, как здесь говорят, *self-made-man*, по-русски это человек, сделавший самого себя, то есть всего добившийся, но революционному делу по-прежнему предан». — Видал, куда Чумак залетел? Сколько лет прошло, а... — Революционному делу предан, — доканчиваю я с усмешкой. — А чего же он в тамошнем раю революции ждет? На готовое хочет пожаловать? Думаете, я не докумекал, зачем вы о Чумаке? Не надо, лишнее все это. — Ну, хорошо, дело твое. — Мы встаем. Корганов Учителя в сторону отводит. — Алеша... — Я, чтобы не решились, будто подслушиваю, к крыльцу ухожу. Учитель подзывает меня, заночевать предлагает. Корганов к вечеру уедет. Садимся перекусить. Они разговаривают, меня не таясь. Правильно допер я в госпитале — Учитель в самом деле из ссылки дёру дал, проскользнул сквозь лапы полиции до Питера, а оттуда ему началь-

ство партийное направление на юг, в войска кавказские дало. — Поберегись, Алеша, — Корганов тует, — меня ежели схватят — один разговор, а бой по всем статьям: и беглый, и под чужим именем. Законы военного времени во фронтовой полосе — без следствия и суда... — Учитель отмахивается. — Попадаться не намереваюсь, но ведь связи мои их интересуют, спешить они не станут, расследование будет... — Я, не сдержавшись, в разговор встречаю: — Нынче легче убивают, чем раньше глоток чаю отпивали, полезнее не выставляться. — Знаю, знаю, — с досадой отвечает Учитель, — не учите ученого... Кстати, Гриша, я ответил Петрограду, что здесь не германский фронт и лозунг братания для нас бессмыслица. — На расстоянии им не понять, Алеша. Приехали бы, посмотрели на растерзанных женщин и детей. Какое братание при такой резне, такой обобщенной национальной ненависти! — Корганов, видно припомнив что-то, белее белой простыни становится. Они о том, о сем толкуют продолжительно, до самых сумерек. Наконец Корганов прощается, выходит. Учитель, на меня покосившись, почесывает в затылке, снимает со стены ковер и складывает его вдвое. — Тахта одна у меня, Степан, так что не обессуди, тебе на полу придется. — Я уже набаловался в госпитале, — говорю ему, — хватит с меня. На фронте, знаете как, земля да шинель — вот и вся солдатская постель. — Ложусь, пережевываю услышанное. Из него проистекает такая главная диспозиция: в один наилучший день солдатне надлежит по команде большевиков «налево—кругом» показать спину внешним врагам Российского государства и открыть огонь по внутренним врагам — правительству и власти имущим. Если с раздумием рассмотреть — диспозиция эта вполне и очень даже. Жив буду, погляжу со стороны, что из такого рая получится... Слышу, под Учителем тахта поскрипывает. А мне курить охота. Достаяю кистет, газетки обрывок, и тут Учителя голос слышу: — Не спится, Степан? — Да, — отвечаю, — в госпитале лишку хватил, у будущих ночей сон занял. — Ты женат? — Холостой. — Это хорошо, — говорит он со вздохом. — Смотря с какого угла глянуть. — Выбиваю кресалом искру, прикуриваю от трута и продол-

жаю: — Ежели б люди не обзаводились семьями, детей не рожали, человеки на земле давно бы перевелись, да и все живые тоже. Извечно это. А у вас жена супруга такая, дети тоже ведь. И доченька есть? Запомнил я. — Две дочери. Но детям отец нужен, Степан. — Да это, — говорю, — с какого бока взять. Я с малых лет все сам да сам... Вы лучше вот что скажите, раз уж разговор у нас такой пошел: по какой причине посмеивались, когда я высказал непременно желание свое бросить всю эту дрянь? — Сызнова смешок Учителя слышу. — А потому, что не бросишь. — Еще как брошу! — Обманываешься. Ни ты, ни я не вольны что-либо изменить, что делали, продолжать делать будем. — Черного кобеля не отмоешь добела? — Можно и так сказать, однако я о другом. Представь: дорога жизни, едут по ней люди в телегах, в обе стороны — навстречу друг другу. Ты говоришь — не хочу я больше ехать с вами, сойду, и пусть себе с обеих сторон объезжают меня. Разве станут объезжать? Ты один, а их сколько? Тысячи, миллионы. Обязательно зацепят или с одной стороны или с другой и поволокнут... А могут зацепить сразу и оттуда, и отсюда — тогда на части разорвут. Некоторые еще такой выход находят — перепрыгивают из своей телеги во встречную и едут в обратном направлении, но... Мы-то с тобой не из таких! — Говорит он вполголоса, с раздумием, и казаться мне начинает, будто не ко мне слова его обращены, а к себе самому. Навряд, это он меня в телегу, из которой я выбраться хочу, обратно заталкивает. Назад ехать, иначе говоря, за царя-батюшку стоять, я, что и говорить, не поеду. А телега родимая, революционная... Так разве нас в ней везут? Это мы ее на себе тащим. — А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой! — бормочет Учитель. Мысли у меня путаные, как шерсть нечесаная. Одно знаю, не могу я больше, сыт, по горло самое сыт войной этой. На том и засыпаю. И утром сызнова подтверждаю Учителю свое — дезертировать, и безо всякой оглядки.

С войны путь долгий: через море, — чтоб ему испариться досуха! — пароход валяет с боку на бок, и я всю дорогу блюю желчью, потом схватил меня сып-

няк окаянный! Лежу двумя ногами в могиле, головой смурной на шинели скатанной. Вижу ангелов в одеждах белых с крыльями лебедиными, и в горячке сто-раю, прошу воды, помощи, а ангелы, не приближаясь, крыльями тихонько помахивают, кому-то другому, ви-дать, прохладу навевают... Через меня голоса переска-кивают — сосед справа с тем, кто слева от меня, раз-говаривает: — Про Распутина слышал? — Ну? — Уби-ли, рассказывают. — Ну-у. — Сам великий князь Дмит-рий Павлович участвовал. — Ну-у... — Чуть поодаль баят: — Скоро наш российский нарыв лопнет. — Ско-рее бы, — хриплю я так слабо, что и сам еле себя слышу. — И опять старуха-смерть отказывается от меня, живым встаю с матраца провонявшего и проби-раюсь дальше. Поездов не видеть, а если и покажет-ся, в вагон не втиснешься, проводники волкодавами в дверях стоят. От станции до станции пеши иду, среди таких же солдат-дезертиров, армян-беженцев с голод-ными орущими детишками за спиной. Напарник мне находится. Второго Кавказского корпуса, нога негну-шная, мастеровым сказанся из Тулы. Через дерев-ню какую-то грузинскую идем, он меня локтем пиха-ет. Гляжу — в воротах высокая женщина в черном, нос, как клюв у орлицы, а глаза от слез побелевшие. В руках тарелка, на ней лепешки, дух от них такой— в желудке корчи делаются. У ног кувшин глиняный и стакан. Кивает она нам, подойдите. Приближаемся и получаем по стакану вина красного и по лепехе ку-курузной с ломтем сыра. Туляк мой за второй лепехой тянется, она укоризненно головой качает и на дорогу показывает. — Оставь, — говорю, — других тоже оделить хочет. — Кланяемся ей и отходим. Я лепеху кончаю, а туляк не спеша, истово, по крошечке. За околицей — казаки. Враз обыск, и оказывается, что у попутчика моего к ноге карабин привязан, оттого нога и не гнулась. Пока меня обыскивают да доку-мент мой изучают, туляка к склону горы отводят, Залп, эхо в ущелье отзывается, и по тропе катится ку-курузной лепехи половинка. Не успел доесть бедола-га! В полах шинели моей письма защиты — от Учи-теля. В вощеную бумагу обернуты. Найдут если... Еще я посылку нес для жены и дочек Учителя, но по-


сылке ноги приделали, когда я в лихоманке ангелов к себе звал. В городах, сказывают, ни муки, ни сахара, ни молока, даже картофеля и постного масла днем с огнем не сыскать. От голода и смерти к голоду и смерти иду... В Тифлис добрался — он стоит вселенский, озверевшие бабы лавки и булочные громят, кошелками городского бьют, на всех языках проклятиями сыпят. Останавливаюсь, смотрю — такой войны не видал еще. Кто-то в спину меня. Обернулся — старуха, седые космы на желтое лицо свисают, одна глазница пустая, красная. — Солдатик, а, солдатик, мне не протолкаться... Видишь? — И пальцы разжимает, на ладони — глаз. — Внуки у меня... Вот корзинка. — Ох ты, господи, пресвятые угодники! Хватаю корзину ее и ныряю в витрину разбитую. Выбираюсь без хлястика, со скулой разбитой — распаленная какая-то бутылкой звезданула, зато корзина полная и мой сидор тяжелый. Старуха ко мне — выхватывает корзину свою и другой рукой тщится глаз свой на место вставить. Тут только распознаю — глаз-то стеклянный, я таких не видал еще. Через дворы проходные в тихий участок выбираюсь и до сумерек ищу нужную улицу. Нахожу, наконец, улицу, дом. Во двор с трех сторон в два этажа балконы, и с балконов на меня пялятся жильцы. Вопрос мой: — Где Джапаридзе проживают? — вроде палки, в пчелиный улей сунутой. Все наперебой говорить начинают, звать кого-то, девочка темноглазая сбегает по лестнице, меня за рукав хватает, бородастый дед сидор мой берет. — Нет, нет, я помогу. Вот сюда, по этой лестнице. — Все здороваются, со стороны поглядеть — вроде жил я здесь сызмальства и вернулся после долгой разлуки. Темноглазая девчушка держит меня за руку, не отпуская, с другой стороны еще девочка прыгает, звездочки-глазки шаловливые, волосы по плечам рассыпаны, по балкону Варвара Михайловна легко спешит. Не изменилась, и повадка та же видная. Останавливается, разглядывая меня, припоминает, где видела. Я погромче, для соседских ушей: — Здравствуйтесь, с поручением до вас от князя Баратова. — От князя?.. Баратова? — Лицо ее строжает, в глазах, вижу, подозрение какое-то. — А что, собственно?.. — Я потише, для нее только: — Письмецо у меня, да еще посылочка, передать велели.

Не признали меня, Варвара Михайловна? На Баку оглянитесь. Забыли, как на «Электросилу» ко мне шли однажды? — Ах, — говорит она, — Степан заходите, заходите, бога ради. — На девочек своих и на соседей оглядевшись, улыбаться чему-то принимается. Входим в комнаты. Соседи вниманием нас не оставляют — то одна соседка зайдет — тарелку полную занесет, то другая тащит снедь какую-то. Я на стуле колом сижу, шинель на вешалке, под ней сидор горбится, а возле меня девочки — не отходят, во все глаза смотрят. Мать что-то шепчет им, и они с огорчением за дверью скрываются. Остаемся с Варварой Михайловной сам двух, и она с пристрастием на меня глядит. — Когда вы виделись... с князем? — Я рассказываю без подробностей и как встретились мы в госпитале, и про сыпняк, и дорогу долгую мою. Она вздыхает будто с облегчением, на лицо ее просветлевшее опять улыбка находит. — Я почему смеялась, — говорит, — вы о князе Баратове, а когда Пакия проездом на фронт был в Тифлисе, мы объяснили Елене и Люцико, что никому нельзя говорить про папу, все должны знать — это ваш дядя, фамилия его Баратов. Люцико выбежала во двор и тут же всем соседям рассказала, что к нам дядя, князь Баратов приехал, но на самом деле это папа. Так что соседи все знают. — М-да, — говорю, — с детьми какая конспирация! — Прошу нож либо ножницы, чтобы полу шинели подпороть, письма достать. Между делом спрашиваю, какое из имен у Учителя настоящее — Пакия или Шалико? — Пакия — уменьшительное от Прокопий, так его мать, сестра называют, а я по-своему... — Про посылку пропавшую объяснять ни к чему, я, письмо ей вручив, за сидор свой берусь. — Вам это. — Развязываю тесемку — в спешке сам не разглядел, что в сидор насовал, гляжу — консервы мясные, не наши, немецкие вроде, сыру головка, рафинаду колотого фунта три, оливкового масла бутылка, уцелела, не разбилась. Поглядел на скатерть белую, на руки свои побитые, грязные, на сапоги, из которых подкладка лезет, пальцы прикрывая, пахну едко потом застывшим, под мышками гады-вши грызутся, да еще взгляд у Варвары Михайловны сызнава такой, будто она про меня больше, чем я сам, знает. Встаю, берусь

за шинель. — Куда вы? — спрашивает. Говорю, что к бакинскому поезду боюсь опоздать. — Она кивает. — Раз надо, конечно... Сейчас в ванной вода согреется, я вам бритву дам, побреетесь, помоеетесь... — Письма она в руке держит нечитанными, что-то еще сказать мне вроде и хочет, но сомневается. Вдруг слышу: — Вы, наверно, повидаться с ним захотите. — С кем? — спрашиваю. — В Тифлисе он, уже несколько дней, скоро прийти должен. — опередил гонца своего, выходит, — говорю я, — что ж, не моя в том вина. — И иду в ванную комнату. Моюсь. Трапезунд вспоминаю, ночной разговор наш, как он сказал, что детям отец нужен, и о Варваре Михайловне думаю. Оба ведь могли бы жить припеваючи, а нет, то он в ссылке, в бегах, то она в тюрьме или одна с детьми, без него, в беспокойствах, в ожидании. Какая же сила и откуда возникает она, заставляет их, обделяя и себя, и детей своих, ради других стараться?.. Слышу через дверь Учителя голос. Пришел!.. В комнату вылезаю в новой коже, чистой и вроде бы чужой. Учитель — лицо уставшее, щурится глазами воспаленными, но улыбается. — Здравствуй, беглец, с приездом. — И мы уже за столом. Снедь какая-то острая, незнакомая, и лепешки с сыром и консервы, что я добыл, разогретые, на тарелочке тоненькими ломтиками разложены, и чайник фырчит... Как во сне! Я рассказываю про путь свой. Учитель усмехается. — Я хоть и попозже оттуда улепетнул, но благополучнее добирался. — А нынче как вы, опять в князьях или?.. — Нет, Степан, того князя жандармы в дивизиях ищут. — Варвара Михайловна слушает нас, глаза ее горячие часто затуманиваются, и тогда девочек, к ней льнущих, она по головкам нежно поглаживает. А иногда, примечаю, смотрит на супруга вроде бы как на меня, когда я перед ней возник, не то чтобы с подозрением, но вопрос тайный сильно ее занимает. А Учитель, как улыбнулся, меня увидев, так бесконечно и радуется. Однако не мне, другому чему-то... Задумавшись, пропускаю мимо ушей слова его и вдруг спохватываюсь. — Бога ради, как вы сказали? Повторите. — Сообщили, что царь отрекся от престола. — Отрекся? То есть как это? — Кажется, в пользу брата Михаила, но тот отказался... — Смотрю на него и не верю ушам своим. — Если

правда то, что вы мне сообщили, век помнить буду! — Если это правда? — Он вскакивает, будто взрывом его подбросило. — Не если, правда это, верю я, правда, правда! — Он хватает с колен жены девочку меньшую, подбрасывает ее к потолку и хохочет так, что стекляшки над лампой тренькать начинают. — И ты терпел, столько времени молчал? — сердито вскрикивает Варвара Михайловна. — Главное, вижу — тайшь что-то радостное, но что?.. — Говорим мы без умолку, с одного на другое скачем, пока языки не утомляются. — А ты, Степан, из нашей телеги вылезти намеревался, — вспоминает Учитель. — А чего? Выходит, дальновидный я, опередил, можно сказать. — Думаешь, конец, уже свершилось? — с той же памятной мне усмешкой осведомляется он. — Жизнь без царя только начинается, Степан. Я сегодня такой бой с меньшевиками выдержал... — Лицо его становится как булыжник — таким же серым и твердым. Ни в чем он меня не убеждает больше, ни о чем моем сокровенном не спрашивает, а садится и быстро строчит письмо в Баку, которое я завтра обязательно комитету передать должен. Я, на старое рукой махнувши, интересуюсь: — А вы так в Тифлисе и останетесь? — Он смотрит на меня, как продавец на чашки весов. — Не знаю, проживем—увидим, где я больше сделать сумею. Скорее всего, в Баку вернусь. — Прощаемся. Я топаю на вокзал. Хорошо, не спросил он, каким образом посылка его за дорогу весом потяжелела. Иду и от всего услышанного шатаюсь, как пьяный. Неужто свершилось, неужто царская власть рухнула? Недавно совсем, четыре года всего прошло, как 300-летие дома Романовых праздновали, а ведь и до того цари были. С каких времен они на Руси?.. Поздно ночью поезд подают, но билетов нет. В голову поезда бегу, машиниста прошу, в хвост несусь, наконец с усачом проводником сговариваюсь за два целковых в тамбуре до Баку ехать. Всю ночь на ногах стою, в мутное окно поглядываю, и все думаю — есть еще царь или в самом деле больше нет его? Вагон из стороны в сторону кидает, и все скрипит, вот-вот развалится. В Баку прибываем после полудня. Мокреть знакомая сверху капает. Пробираюсь сквозь пассажиров к выходу в город и натываюсь на громилу-городового с красным

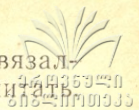
бантом на груди. Пялюсь на него, как на слона. Этого чего красный бант нацепил? На привокзальной площади толпа. Афишная тумба облеплена, как осами таз с вареньем. Ага, значит все-таки... Подбираюсь к тумбе сколь удается, ухом вперед. Кто-то рыдающим голосом читает: — Божьей милостью мы, Николай Второй, император Всероссийский, царь польский, великий князь финляндский... объявляем всем нашим верноподданным: в дни великой борьбы с внешним врагом... — Грамотей! — кричу я. — Чего всхлипываешь? Громче читай! — Господу богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание... Признали мы за благо отречься от престола государства Российского... Да поможет бог России... — Нет Николашки! Нет царя больше! Хватаю рядом стоящего за шею и целую, он отпихивается. Я задним ходом из давки вытискаюсь. Кто-то басит в самое ухо: — Баба с возу. — кобыле легче. — Толпа гудит. Все кричат, обнимаются. Старуха мелко крестится. — Твердила Ульяна, твердила, что свету преставление будет, вот оно начинается. — Парень в студенческой фуражке хохочет. — Не бойся, бабушка, не светопреставление началось, а свобода пришла! — Не кричать о свободе надо, господин хороший, — говорит ему мужчина в котелке и в пальто с воротником бархатным, — а действовать. Рабочий и солдат не должны терять доверия к Временному правительству. Распылять своих сил теперь нельзя, собрать что имеется и разом двинуть на немца и турка! — Мы вшей уже накормили! — рывкаю я на него. — Теперь ваш черед немца и турка гнать. а мы отсюда поглядим, как вы на нас издали глазели! — Дылда какой-то, тоже с красным бантом, руками на нас машет. — Что вы горланите? Момент текущий серьезный, это вам не фунт изюму, не хиханьки да хаханьки. Надо знать исторический процесс. Все идет постепенно, а то некоторые кричат: классовая борьба, душить пора! Ляпнут такое и в кусты, а общественное мнение и начинает работать в этом направлении, думают, в самом деле душить пора. — Что же будет, что же будет? — причитает курносая дамочка при серьгах. — Революция будет, — объясняет ей дылда с бантиком. Студент все радуется, хохочет. — Ой, господа, да поймите же, это уже, уже революция! —



Из-за моего плеча вытягивается кулачище, а за кулачищем сам хозяин его — мастеровой в овчинном лушубке. — Ер-рун-да! Ерунда это, а не революция! Правильно господин выразил, революция будет, когда душить начнём!.. — Господа, господа, — сипло увещевает городской, — императорским манифестом дозволена революция, так что прошу соблюдать революционный порядок, и выражений не допускать, потому свобода объявлена, все чинно должно быть, без того самого. — Мастеровой прыскает. — Брысь, селедка! Тебя завтра отменят. Катись отседова, скажи деду -- в Москву еду... — Мужик какой-то, в солдатской шинели потрепанной, на всех с улыбкой неподвижной смотрит, вроде маску на лицо надел и не снимет никак. Глазами столкнулись, я тоже засмеялся. Еще время прошло, а он сызнава, на меня глядя, зубы скалит. — Хватит, — говорю, — ржать, не устал? — А он: — Я с контузии такой, меня били уже: нашел, мол, время смеяться при покойнике! — Ничего, — утешаю его, — все-таки получше, чем плакать. — Он только рукой взмахивает — все одно, мол, и идет дальше, смеясь во все стороны. Уже и шинель моя, ветром побитая, отсырела вся, и в сапогах вода хлюпает, а я все брожу среди людей. Кто на фаэтоне едет, красным флагом размахивает, кто пляшет, пьяненький, посреди улицы, из-под сапог брызги летят. На площади военный оркестр «Марсельезу» играет, а с балкона господин какой-то под зонтиком орет пронзительно: «Да здравствует Временное правительство!» Ералаш!.. Временное правительство — Временным правительством, а у меня в желудке уже барабаны бьют, и определяться куда-то нужно, да и искать, через кого письмо от Учителя в комитет передать. Сперва насчет письма, а потом и к своей хозяйшечке наведуясь. Иду, воротник поднявши, той же старой дорогой — в сторону Баиловского мыса. Не может быть, чтобы на «Электросиле» никого из старых знакомцев не сохранилось. Дотспал до «Электросилы», одного спросил, другого, с третьим потолковал, и вечером уже сижу в тепле, за столом, на котором стоит лампа семилейная, а по другую сторону восседает не кто иной, как Трофимыч, седой совсем, морщины на лбу углубились, под глазами выцветшими отеки, голову в плечи втянул,

будто тяжело держать ее стало. Время никого не милует, постарел, но тот же знакомый прищур и ухмылочка прежняя, а глаза вроде бы еще умнее стали. Она комоды, вижу, книжек сильно прибавилось. — Все читаешь? — спрашиваю. — А ты чтение все на потом откладываешь? — отвечает он мне. — Эх, старый, — говорю, — побывал бы там, где я... — Он ворчит: — Там, там... Горбатого, в самом деле, одна могила исправит. Или воображаешь, другие на печи лежали? — Рассказывает, что в тюрьме дважды отсидел и в Астрахань выслан был. — А здесь, в Баку, что творится? — спрашиваю. Он хмурится. — Да-а... Народу рабочего за войну сильно прибавилось, кто на нефти, стало быть, на оборону работал, тому от мобилизации отсрочка, однако много несознательных. Тяжко с ними. Да еще эсеры широко расплодились, меньшевиков тоже числом прибавилось... наших комитетских и рабочих несколько недавно взяли, но мы людей на забастовку подняли и добились — освободили... Не бойсь, без дела, Степушка, не останешься, в простое не будешь. — А я не боюсь, — говорю. И он, как Учитель в Тифлисе, ни о согласии моем не осведомляется, и не спрашивает, может, я чем другим озабочен — сами за меня решают. Говорю, что с фронта я дезертировал, Трофимыч кивает с одобрением. — Разумно, так и надо было. — Что сказать еще ему? Намерен из революционной телеги выскочить и в кусты придорожные забиться? Не поверит, и прав будет, потому что некуда мне прятаться и делать я только то могу, что воспринял за годы долгие и в чем правоту будущей жизни своей вижу. То, как думал я в Трапезунде, блажью моей было, и ничем более... Спрашиваю у Трофимыча про царя. — Не император испугался, а капиталисты да генералы трусили, кабы их народ не похоронил, вот и принудили его от престола отказаться. А потом восстание началось. В Питере, насколько знаю, две власти нынче друг на дружку скалятся — Советы и Временное правительство, а в Советах тех наших пока кот заплакал...

Все кричат: «Да здравствует свобода!», и мастеровые, и солдаты, и жандармы, и буржуи толстопузые. Хрен поймешь! Утром рабочий люд к Соленному озеру



в Балаханы повалил, само собой, и я за ними увязался. Народищу собралось — уйма тысяч, не сосчитать. Накричавшись до хрипоты, дела искать стали. Из конторы промысловой служащих в окна повыкидывали, управляющему промыслами синих фонарей навешали, в тачку положили и в старую песчаную выработку вместе с тачкой свалили. Пока до города шли, все, почитай, конторы разгромили, да и в городе, где поспели, чиновников поизбивали. Кто-то до всеобщего ума довел — политических из тюрьмы освобождать. Побежали к Баиловке, оттуда к Шемахинке. Охрана трясется, стрелять боится — такое море людское перестреляешь разве? Стали по одному заключенных выпускать. Мы их качать, передавать с рук на руки. Под шумок уголовные тоже утекли, и тюрьмы опустели. В Баиловку, чтобы свято место не пустовало, засадили гарнизонного начальника адмирала Клюпфеля, пристава одного вредного и околоточного, который ненароком башку свою на улицу высунул. Градоначальника, гниду черносотенную, то ли позабыли, то ли под руку никому не попался. А днем позже шиш тронешь его — уже комиссара к нему специального приставили от Исполкома общественных организаций — новоявленной власти бакинской. Как рассказал Трофимыч, все, кто мог, поспешно туда протиснулись — и думские, и мусаватисты, и из дашнакского армянского совета, и меньшевики, а большевиков чуть-чуть всего. Исполком призвал всех нас соблюдать дисциплину, порядок и трудиться в поте лица ради достижения полной победы над внешним врагом. Выслушав трофимычевы объяснения, я говорю: — Опять бланманже. — Чего, чего? — Так моя бывшая хозяйка квартирная говорила, еда такая, вроде винегрета. — Сам ты бланманже, — со смешком произносит Трофимыч, — не винегрет это, а желе сладкое. — Мы идем к дому Армянского человеколюбивого общества — выбрать Совет рабочих депутатов. За нами мастеровых тридцать топает, все из наших, по прошлым годам знакомые и с глотками здоровыми. Уполномоченные по выборам уже собрались, теперь наш черед слово свое хором сказать. За кого кричать, договорились с вчерашнего вечера. Набились в зал — стены наружу

ссориться не собираюсь. — Трофимыч согласно кивает. Говорим теперь о всяком другом. Я спрашиваю, какая из нынешних властей настоящая — Комитет общественных организаций или Совет рабочих депутатов? Трофимыч со вздохом говорит, что еще две власти сегодня образовалось — Совет солдатских депутатов и Совет офицерских депутатов. Я только присвистываю. — В Тифлисе, — добавляет Трофимыч, — Особый Закавказский Комитет всем краем заправлять будет, вместо наместника. — Их тоже криком избирали? — интересуюсь я. Он показывает мне кукиш. — По приказу Временного правительства, там все свои, из прежних. — Знаешь, что я скажу тебе, Трофимыч? — говорю я. — Одно жалею, что ни нагана, ни винтовки с фронта с собой не привез... — Трофимыч к себе опять зовет, я отнекиваюсь, говорю — если у прежней хозяйки не устроюсь, тогда приду. Мы прощаемся. Бреду темными улицами. С моря ветер шибает. В желудке, как у собаки голодной, урчит. Прихожу до места, стучу, говорю через дверь, кто. Хозяйка отворяет. — Господи-сусе, живой!.. — Вхожу, шинель снимаю, присаживаюсь. Гляжу, вроде обрадовалась, засуетилась кормить меня. Переменилась — телом исхудала и покрасивше вроде стала. На этажерке кисет с табаком примечаю. А-а, в доме-то мужик завелся. Вот почему омолодилась она. Мне встревать в чужие дела не с руки. Встаю, а тут она со сковородкой спешит, на сковородке шипит картошка. — Куда ты? — Пора мне, я ведь насчет комнаты, но у вас занято. — Она на меня с удивлением, сковородку — на пол, сама ко мне, руки за шею. — Не уходи... Был квартирант у меня, съехал в прошлом месяце. Останься, Степа, страшно мне по ночам одной. — Я отстраняться. На сколько лет она старше? А она еще крепче прижимается, шепчет слова жаркие. Эх ты, бланманже, — думаю я, — останусь, ведь и мне, случается, по ночам одному страшно бывает... Раненько она меня расталкивать принимается. — Вставай, Степа, по продовольственному делу сходим. — Ведет после завтрака на вокзал — складчик какой-то муки мешок обещался ей по цене сходной устроить. К вокзалу приходим, она мне, чтобы я пока не ходил, тут обождал ее, а то складчик чужих остерегается. Выхожу на перрон.

Гляжу, поезд куций стоит — всего из трех классов вагонов, и у каждого тамбура охрана. Начальство какое-то едет. Кто бы? На окна поглядываю. В отном, смотрю, мужик породистый, морда скучная, и ровно бы о чем-то спросить хочет. Чего тебе? — рукой показываю. Он не отвечает, смотрит только, будто вспоминает меня, но вспомнить не может. Тут от тамбура казак подбегает. — Чего пялишься? Проходи! — А сам во фронт становится и на окно глазом косит. — Перед кем тянешься? — интересуюсь я. — Пошел вон! Сам великий князь, его императорское высочество Николай Николаевич. — Ого, важная птица! Смывается? Куда же он нарезает? Если в Питер, там еще похлеще, чем здесь. — Казак за кобуру. — Тих-ха! — осаживаю я его. — А то своих позову, дальше Баку не уедете. — Великий князь, гляжу, машет казаку, оставь его, мол, отойди. Казак, кряхтя с досады, спиной ко мне поворачивается. Я нагибаюсь, скovyриваю с сапога грязи комок и запускаю в окно. Великий князь отшатывается. Грязь растекается по стеклу. — Вот как-то, — говорю я и ухожу подобру-поздорову...

При царе говорилось: день да ночь, и сутки прочь. Теперь, после революции, жизнь такая пошла, прочь отлетают недели, и когда среди них ночь, когда день, не различить. Передышка выпадает редко, и ее используешь для одного — жратву себе раздобыть. Я с Трофимычем снова — в лодку, и за рыбой. В тот день я впервые в жизни своей смерч вижу. Море с утра темное, взмыленными гребешками покрытое, и по небу тоже тучи черные. Ветер сперва ровно дует, а потом вдруг как с цепи срывается, за островом Нарген вспучивается вода, сверху, из тучи тьма воронья опускается, и срывается небо с морем в вертящийся веретеном столб. Водяной столб обрушивается на остров Нарген, смывая бараки. — Вот ядрена вошь, — говорит Трофимыч, — да-а, против природы разве попрешь? Давай, Степушка, к Наргену, там, поди, оглушенная рыба кверху пузом. — Оглушенную рыбу мы не обнаруживаем, а та, дурная, что заглатывала наши крючки с цветными тряпочками, дома попадает в кипяток. К ухе у меня штоф припасен, фигуристый, с надписью

нерусской, я его в шкафу среди книг нашел. На вкус — мерзость, вроде капель анисовых, но крепостью вполне. Трофимыч для виду укоризненно сводит висшие брови. — А как насчет приказа номер один, Степушка? — Приказ этот был первым приказом Комитета революционной обороны, назывался он «Довольно пьянства». По нему пьянка приравнивалась к дезертирству, и справедливо: пили в батальонах напропалую. Под Геокчаем матросы сами назюзюкались, сестер милосердия в доску напоили, и турки вырезали всех до одного. А во 2-й бригаде, куда меня с Коргановым послали выяснить, почему отступление, мы командира бригады Амазаспа всю ночь искали и только утром застукали в классном вагоне, в дым пьяного, с тремя сестрами милосердия в кружевных панталончиках. Корганов чуть не пришел его из маузера. — Трофимыч, — говорю я с укоризною, — это же не водка, одеколон, мы им только освежимся. — Твоя правда, — с готовностью соглашается Трофимыч. Он подмигивает Прасковье. — И ты освежишься, девонька? — А ну ее, отраву такую, — отмахивается она, разливая по тарелкам горячую уху. Посуда у нас знатная — с вензелями, коронами, шкалики хрустальные, если пальцем проведешь, поют тоненько. Трофимыч с тоскою смотрит на свой шкалик. — Ржаную бы корочку... — Семечек жареных не хочешь? — спрашиваю. — Вчерась выдали нам по четверть фунта. — Опорожняем мы с Трофимычем штоф с освежительной, съедаем по две тарелки ухи и сидим осовевши. Прасковья выходит. У меня от ухи по всему телу сытое блаженство. — Толковый мужик Карл Маркс был, — говорю я, — знал, что всем миром жратва правит. Кончатся эти страсти-мордасти, до хлеба доберусь, год целый жевать его буду, даже во сне. — С жратвы на дела наши невеселые съезжаем. Нефть в Россию отгружать перестали — не до нее, турки на подходе. В Грузии немецкие гарнизоны стоят. Матросы черноморские эскадру на дно пустили у Новороссийска, чтобы корабли немцам не достались. А наша каспийская матросня митингует — англичан требуют пригласить. Англичане, мол, турок отгонят, продовольствия навезут. — Эсеры воду мутят, — говорит Трофимыч, — слышал, возле Карабуджаха рота из балаханских

рабочих и дружинников отказалась на фронт выступить. — Тоже эсеры настроили? — А кто их знает, скорее меньшевики. На промыслах Московско-Кавказского товарищества, знаешь, какое постановление вынесли? Отказаться от гражданской войны и отвести войска с фронта. — Трофимыч, а на что они, наши меньшевики, расчет имеют? — У всех у них один расчет, власть взять. — Да им тоже турки животы выпотрошат. — Грузинские меньшевики заступятся. Прошиблись мы, Степан, ой, как прошиблись. Мы чего кричали? Даешь автономное Закавказье в пределах России! А меньшевики, дашнаки, мусаватисты чего кричат? Даешь независимую Грузию! Даешь независимую Армению! Даешь независимый Азербайджан! Вот на этом мы и горим. Надо было нам на национальных чувствах играть, а не доказывать, как Алеша, что сперва организуем, доведем революцию до конца, утвердим Советскую власть, а уж потом займемся национальным вопросом. — Правильно доказывал, — говорю я. — Так и должно быть, без всяких лисьих уверток. Революция, капиталистов под зад коленкой, и без всяких там национальностей. Все вместе, дружно, все на одном языке заговорят! — Трофимыч шурится: — А знаешь, они какой вопрос задают? На каком языке все наши народы говорить будут? Ответь-ка им, Степан, вроде ты на митинге. — Я и без митинга скажу: на русском. — Во-от, во-от, на этом нас и ловят, на это все они хором кричат: царь того же самого хотел. Смекаешь? Поэтому-то мы и сидим теперь, как на пороховой бочке. — Трофимыч говорит с уверенностью, со знанием. С одной стороны на него глянешь — каким был, таким остался, а с другой взглянешь — нет, не тот.. Он и на митингах речи держит, и иным интеллигентам-меньшевикам такого отвешивает, держись только. Надо быть, рано ли, поздно, в народные комиссары выбьется.. Прасковья возвращается, на нас вопрошающе смотрит. — Чаю будете? — Трофимыч вскидывается даже — чаевник он знаменитый. — Где она чаю раздобыла, Степан? — Я молчу, потом догадываюсь, куда Прасковья вышла. Ушицы, видать, снесла старику-лакею, а он ей — заварку. В доме по-старому, кроме нас, никого. —

Степан, Киреева с Покровским ты кончал? — спрашивает Трофимыч. — Нет, не я.

Эсеры, народный комиссар финансов Киреев управляющим банком Покровским стянули уйму денег и чуть не смылись. Их сцапали уже на пароходе. Кто-то говорит, что крысы первыми бегут с тонущего корабля. Учитель, услышав, взбешивается. — Наш пароход не тонет! А крыс убивать надо! — Вот это да, думаю, это он по-нашему заговорил. Давно бы так. Киреева и Покровского приговорили к расстрелу. Киреев попросился с Учителем по душам потолковать...

Пьем кипяток, сухарик с зуба на зуб перебрасываем. Учитель мне и Ваню рассказывает, как в Америке за освобождение негров от рабства воевали, и тут красноармеец-чекист приводит Киреева. Мы встать, Учитель рукой показывает — сидите, мол. Сидим, молчим, на Киреева смотрим. Мужик видный, пожалуй, покрасивше Корганова будет, но морда, как арестанту положено, щетиной заросла, глаза лихорадочные. — Алеша, — Киреев слова проговаривает ласково, по-родственному, — нам бы наедине, без посторонних... — Учитель таким взглядом ему отвечает, от которого человек, если только он существо живое, мгновенно сгореть и испариться обязан. Но Киреев только лопатками передергивает. Слышу голос Учителя: — Говорите. Обращайтесь как к народному комиссару внутренних дел. Попрошу коротко и по существу. — Киреев проводит ладонью по щетине своей и то ли кривиться, то ли ухмыляться начинает. — Я, если ты помнишь, тоже народный комиссар... — Были. К сожалению, были. А теперь вы преступник и дезертир! — Учитель встает. — Говорите со мной на «вы». — Киреев глотает слюну. — Я обращаюсь к тебе... к вам, как к товарищу по совместной борьбе, как к человеку... — Еще раз напоминаю, обращайтесь как к наркомвнутделу. — Учитель роется в карманах, ищет махру, Ваню протягивает ему кисет и клочок газеты. — Мы были соратниками, — повторяет Киреев, — неужели это ничего не значит? Да, взял я деньги, но ведь деньги эти были награблены Ротшильдом, Нобелем, неужели я не мог вернуть себе награбленное, взять свою долю? Вспомни... вспомните экссы, мы все до копейки отдавали на революцию,

все шло партии... Может, вы стремитесь осудить нас так беспощадно потому, что мы эсеры? Наша партия этого вам не простит! — Учитель густо дымит пажурой и ровно бы изучает Киреева. А тот свое: — Пусть мы провинились, допустили ошибку, согрешили, но ведь деньги-то возвращены, и никто не понес ущерба... Мы раскаиваемся, загладим свою вину. Если хотите, кровью в боях с империализмом. — Учитель садится на табурет и гасит сигарку, будто ввинчивая ее в пепельницу. — Вас расстреляют, — тихо говорит он. Киреев медленно покачивает головой. Не струсил мужик, и в огне, и в воде побывал наверно. — Эх, нарком, а я ведь чай у тебя дома пил, с младшенькой твоей в прятки играл... — Увести! — хрипит Учитель. Когда красноармеец выводит Киреева, Учитель проводит рукой по лбу и с тоскою в глазах бормочет: — Первые, кого я к расстрелу приговорил... Кто из вас, товарищи, наркомом стать хочет? — Понятно, конечно, — говорю я, — раз вы с Киреевым совместно были, но... Привыкнете, особо при должности такой... — Конечно, — поддерживает Ваню, — еще как привыкнешь. — Нет, — говорит Учитель, — боюсь, не привыкну! — Вот те раз, думаю, то кричал — крыс убивать надо, а теперь сызнова в слабину. Видать, путь от слова до такого дела трудным бывает..

Прасковья приносит чайник, стаканы в подстаканниках, и начинается для нас с Трофимычем блаженство. Трофимыч чего-то разглядывает Прасковью, потом участливо спрашивает: — Здорова? — Лицо Прасковьи красными пятнами идет, глаза опускает. — Да, не беспокойтесь. — Трофимыч себя чем-то вроде нашего посаженного отца считает. К нам домой он впервые заявился, но насчет Прасковьи осведомляться у меня не забывает. Опять о еде заговариваем, о том, что так и не смогли мы с Мугани урожай в Баку доставить. Я Учителя, когда его наркомом продовольствия назначили, и Азизбекова в Мугань сопровождал. Мужики вообще народ тяжелый, а местные и того труднее, темнее наших, забитее. Российские после февраля на помещичьи земли с голодной яростью набросились, а здешние, сколь их ни агитировали, земли ханов трогать остерегались. Я думаю, и перед аллахом страх имели. С Баку они никогда связа-

ны не были — ничего от него не получали, ни ситцев, ни обуви. Скот до революции шел сюда из-за Каспия, зерно с Северного Кавказа. Учителя на сходках, крестьяне слушали молча, ни одобрения, ни сопротивления. К тому же он с тюркским не весьма ладил, больше по-русски обращался, так что слова горячие его будто в холодную воду падали и гасли безо всякого шипения. Мешади принимали с превеликим уважением, и народу, когда он речь держал, видимо-невидимо собиралось. Однако и тут — внимают ему, в самые глаза смотрят, а потом, когда им высказаться предлагается, носы в землю и, не спеша, по сторонам. Я, когда мы из села в село на лошадях ехали, спросил, почему мужики так... Азизбеков не ответил, расстроено голову свесил, а Учитель растолковал: мусаватовская работа, вбили крестьянам в голову, что в Баку не Советская власть, а армянская, не гражданская война идет, а резня армяно-татарская. И дашнаки изрядно навредили — когда наше наступление на Елисаветполь началось, в планах было — ханские земли отбирать и передавать крестьянам, а офицеры-дашнаки из армянских дружин вместо революционного дела угоняли овец, коврами спекулировали. Раньше дезертиры дезертирами были, коли утек с фронта, так без возврата, а эти сматаются в Баку, к семьям, к бабам, загонят на толчке, что с собой прихватили, и обратно, за добычей. Иди, после того как у мужика отару угнали, рассказывай ему про справедливую Советскую власть. Смотрит он молча, глазами подозрительными на Мешади либо Джапаридзе и про себя думает: пой, птичка, пой, то мое останется, что я в землю заховал, шиша с два ты от меня получишь. Заканчивает Учитель так: — Ничего, сегодня не верят, завтра поверят. Смеется хорошо тот, кто смеется последним...

Рассказываю Трофимычу про Мугань, а он опять на Прасковью глядит испытующе. Чего это она? Она не болеет вроде, лицо, правда, с недоеду припухшее и на лбу пятна. Я провожаю его до улицы. Он спрашивает: — Дома ночуешь сегодня? — Посплю малость, — говорю, — и к полуночи в штаб. — Ты береги Прасковью, обижать не смей. — Ладно, сам знаю. — Он уходит... На столе уже прибрано. Прасковья барыней в кресле пристроилась, о спинку опершись, ноги вы-

тянула, на этот, — как его? — пуфик возло-
жила. Бровки светлые на глаза наехали, взгля-
дом в одну точку вперлась. — Открой постель,
говорю, — покимарю минуток девяносто перед труда-
ми праведными. — Она не слышит, продолжает гла-
зами стенку сверлить. Переменилась, и тело, хоть и
голод, налилось, и говорливее стала. Сызнова окликаю
ее, а она с болью душевной: — Гос-с-по-ди, да когда
же кончится? Ихние убивают, наши убивают... — Тоже
еще мне, в монашки записалась, пичужка! Сам отки-
дываю одеяло, подушки взбиваю. Примащиваюсь я к
ней, она отталкивает. — Не надо. Степан, у меня дитё
будет. — Меня смех охватывает. — Да разве ж такое
враз бывает? — Не враз, я у бабки была, в третьем
месяце уже... — Я медленно отваливаюсь. Третьем?
Вот почему и пятна на лице, и груди припухшие. Ле-
жим мы, она у края постели, я посередке, оглушен-
ный неожиданным. Когда свыкаюсь с тем, что родит
она невесть от кого, сон меня придавливает. Просыпа-
юсь. В окно луна светит. Прасковья лежит, открыты-
ми глазами в потолок смотрит. Встаю, одеваюсь, рем-
нем с кобурой опоясываюсь. Что сказать ей? И так яс-
но — оба мы, как в мышеловке. — Не дрейфь, — уже
от двери говорю, — жива будешь, родишь, вот и весь
сказ тебе мой. — И ухожу поспешно, чтобы не слы-
шать, если плакать она станет. Один ли он, или не-
сколько, видела ли она чернявых, усатых либо раско-
сых, бритоголовых, или одни только морды звериные
помнятся — какая разница?.. Улицы вымершие, и если
шаги слышатся — то быстрые, воровские. Где-то за
Волчьей грядой ухаёт — не то гром, не то артбатарей
разоряется. Кто турок сдерживает, не понять, на всем
протяжении от одной части моря до другой, верст на
тридцать, у нас не больше 600 бойцов. А на пайковом
довольствии, говорят, 60 тысяч числится... Иду, одним
ухом к далекому грому прислушиваюсь, другим чужие
шаги сторожу. Дохожу до места, ввинчиваюсь в обыч-
ную карусель. Ваню мне газету сует. Вернувшись с
обыска, читаю. Полковник Бичерахов к нам прибыва-
ет сражаться за Советскую власть. О Бичерахове я
наслышан, спорили о нем наши до кипящего пота.
Одни доказывали: Бичерахов объективно честный че-
ловек, за Россию воевать хочет. Другие орали, что

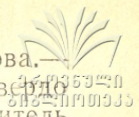
полк его — всего-навсего передовой отряд англичан. Третьи веры ему ни в чем не давали, но на приглашение соглашались, пусть себе бьет турок, а мы тем временем солдат бичераховских агитацией разложим, на свою сторону привлечем, и останется полковник командиром без войска, пушай тогда кукиш, под нос ему поднесенный, нюхает. Про Бичерахова я у Лядова и Учителя спрашивал. Стояли они рядом. Лядов закинул назад голову, черную бородку выставив, посмотрел умно сквозь очки и ответил: — Бичерахов, товарищ Степан, бревно, за которое мы хватаемся. — Учитель показал свои веселые зубы и обнял Лядова за плечи: — Ты неисправим, Мартын! — И мне: — По сути он прав, нам дорога любая оттяжка. Время работает на нас, Степан. — Посмотрел я на них, стоящих в сбнимку, и подивился: недавно они еще врагами скалились. Учитель и Шаумян при уйме народа разделявали Лядова под орех за то, что тот к меньшевикам переметнулся, из большевистского союза вышел, руки ему не подавали, а нынче распри ровно бы и не было. То ли Лядов на попятную пошел, к нам блудным сыном вернулся, то ли не до грызни им пред лицом нависшей опасности. Только подумал так, только отошел от них, слышу — крик, повернулся — а они петухами нос к носу и орут. Вот заводные! Лядов мне тоже по душе, живой мужик. Со стороны спор их похож на то, как собака и кошка из одного дома друг на дружку рычат и шипят, не потому, что очень хочется, а иначе не могут. Интересно, из-за чего они снова? Подхожу, а у них уже перемирие. Лядов косится на Учителя из-под очков, глаза у него пронзительные, буравчиками. — Все-таки, Алеша, как бы не сойти нам со сцены под свист и улюлюканье. Театр горит. — Потушим пожар, паникер, потушим! — Пригласив в брандмайоры Бичерахова? — Если даже сгорит, — говорит Учитель, — если... Этого не будет! Но если — построим театр новый, большой и прекрасный! — Лядов надевает очки и, став самим собой, хихикает: — Вечный юноша, теперь я понимаю, за что тебя любят женщины. — Полуночники, они уходят заседать, а я отыскиваю кресло поглубже, забираюсь в него и устраиваюсь давить клопа. Утром мне с Николаишвили сопроводить Учителя на митинг. Во сне и в тюремной камере

время быстро идет, не успел веки смежить, как ^{новый} день настал. Разжившись кипятком, грызем семечки, пузо обманываем, потом дымим махрой. Когда ^{выход} дим, солнце уже раскалено и от камней сухой пар поднимается. Учителю жара нипочем, шагает легко, по сторонам, прищурясь, поглядывает. Бритые щеки синевой отливают, весь аккуратный, наглаженный. Сам себе гладит одежду или супруга старается? Спрашиваю про Варвару Михайловну, про дочек. Не лучше ль им уехать в места безопасные? — Я ему про это каждый день говорю! — вмешивается Николаишвили. Учитель не отвечает, о чем-то своим думает. Так, молчком, мы доходим до промыслов. Народ собирается нехотя, потом, когда кто-то оглашает, что сам председатель исполкома Совета Джапаридзе говорить будет, рабочих прибавляется. Приносят ящики, и Учитель поднимается на них. — Я позади стану, — шепчет мне на ухо Николаишвили, а ты вперед гляди. — Тревожится чего-то. Лица у рабочих и впрямь неприветливые, не видели еще, чтобы Учителя так встречали. Он начинает говорить. Времена тяжелые. Буржуазия, соглашательские элементы снова высунули из подполья головы и продолжают свою темную работу, стараются ликвидировать ненавистную им рабоче-крестьянскую власть. Кто-то из задних рядов кричит: — Когда хлеба дадите? — Учитель поднимает руку. — Дослушайте до конца, я отвечу на все ваши вопросы. — Снова крики: — Вам, комиссарам, небось сыто живется! — Не дают ему говорить, впервые не дают они говорить тому, кого на этих самых промыслах после митинга на руки подняли и до фаэтона под хоровое «ура» несли. Всмотриваюсь я в лица, и в каждом, как в зеркале, себя узнаю. Это дело случая, что я сейчас им противостою, а вполне могло наоборот — я стоял бы среди толпы, а кто-нибудь из них был бы на моем месте, с наганом-самовзводом в руке, не выставляя его, а прикрывая руками, чтобы видом оружия людское скопище в безумие не привести. За мою спиной Учитель выкрикивает: — Красная Армия устала! Три месяца она сражалась без подмены! В Алятах высаживается большой отряд Бичерахова!.. — Из толпы выбирается длинный, тощий рабочий без рубахи, под загорелой кожей ребра вид-



ны. Встав у ящиков, он проводит большим пальцем по ребрам, и звук такой, будто палкой по заботу про- стучали. — Вот! — говорит он громким тонким голо- сом. — Одни кости. А почему? Много обещали вы, ком- иссары, а ничего для пролетариата не сделали. Ско- ро придут турки, всех нас резать будут, а вы не хо- тите англичан позвать, которые и золотом помогут, и жратву привезут, и турок отгонят!.. — Толпа обжи- мает нас кольцом. Стрелять нельзя — в лепешку стоп- чут. Кто-то бросает издали булыжник, он пролетает мимо моей головы. Вскакиваю на ящик, чтобы при- крыть Учителя. — Сойди, Степан! — резко говорит он, сталкивает меня и протягивает руку тощему. — Встань возле! — Я смотрю на них снизу вверх. Учи- тель, побледнев, снимает пиджак, передает его Нико- лаишвили, стягивает через голову косоворотку. Толпа от неожиданности смолкает. Я тоже на Учителя глаза таращу. Он снимает исподнюю рубаху и, обнажившись до пояса, спрашивает у тощего, показывая на свои обтянутые смуглой кожей ребра. — У кого больше торчат? Кто голоднее? — Тишину только дыхание людское нарушает. Тощий переминается с ноги на но- гу, и тут, догадавшись, я кричу: — Слазь, зараза! Ка- питалистов на помощь зовешь?! А пули не хочешь? — Тощий испуганно втягивает голову в плечи, спрыгива- ет с ящиков. Слышится чей-то придушенный смех. Се- кунду, другую полная тишина — и Учитель бросается на нее. Его более не перебивают. Он сводит все к то- му, что если рабочий класс столько лет ждал револю- ции, то какой-нибудь месяц до полной победы поголо- дать вполне можно. — Потерпим! — кричат из толпы. — Если месяц, обойдемся! — Я облегченно перевожу дух и засовываю наган за пояс. Обошлось, кажись... Аи нет. Пока Учитель одевается, на ящик поднима- ется старичок вполне благообразного вида, не то кон- торщик, не то мастер, и преспокойненько объявляет:— Мы комиссаров выбирали, чтобы они нашу волю, наш наказ исполняли. Поголодать, как призывал нас до- рогой Алеша, не то что месяц, три можно, народ и не к такому привык. И я верю, комиссары в сыр-масле не катаются. Но помирать от турецких ятаганов мы не- согласные. Царский полковник Бичерахов от турок пролетариат не спасет, он, если бы мог, в Турции их

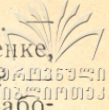
побил бы. Англичанам тоже веры нет, англичане империалисты, рабочего класса враги. Однако поскольку турки англичан боятся, надо согласиться на временное приглашение английских войск. Что это даст пролетариату? И от турок спасет, и от голода избавит. Потому выношу на голосование резолюцию: пригласить англичан! — Одни одобрительно гудят, другие кричат: — Долой! — Голосуют, поднятые руки пересчитывают. Большинство за приглашение англичан. — Старичок громко провозглашает: — Промысловики свою волю выразили, товарищ Алеша. Так Совету и передай. — Опершись на мое плечо, он, кряхтя, слезает с ящиков и шагает прочь. Толпа растекается ручейками, некоторые на Учителя оглядываются, но не подходят. Мы топаям обратно. Николаишвили что-то по-грузински сквозь зубы цедит. Не знаю, есть ли у них матерная ругань, наверное, имеется. — Не надо, Ваню, — Учитель посмеивается. — Подвели нас товарищи из агитационно-пропагандистского отдела, не спросясь, не посоветовавшись, митинги объявили. Я предполагал, что так будет, эсеры до нас всю пороботали. Ах, хорошо солнце греет! — И он блаженно щурится на небо... В комитете сидит народный комиссар просвещения Колесникова, в руке платочек, глаза влажные. — Что с вами? — спрашивает Учитель. — Освистали, — отвечает она. — Только и всего? Нас чуть не пбили. — В комнату, потирая руки, входит Ванечка Фиолетов. — Вот и еще один великомученик явился. Тебя тоже освистали? — Камнями закидали! — свирепо отзывается Фиолетов. — Учитель хочет. — Слышите, милая, камнями! А вы на свист обиделись. Мешади и Степан целы? — Азизбеков еще не появлялся, — отвечает Колесникова, — а Степан Георгиевич тут. — Меньшевички наши не ходили на митинги? — продолжает веселиться Учитель. — Мартына Лядова не отдубасили? Ему весьма полезно было бы... — Это совсем не смешно, Алеша, это ужасно, — пригорюнившись, причитает Колесникова. Учитель на чьи-то шаги оборачивается. — Та-ак, кажется, количество битых еще увеличилось. — В комнату вваливается Трофимыч с лицом до крайности растрепанным. — Что, пбили? — ухмыляется Фиолетов. Трофимыч таращится на него. — Н-нет еще. — Вы на



митинг ходили? — быстро спрашивает Колесникова. —
А как же. Все на мази, сперва лаялись, потом твердо
— англичанам от ворот поворот. А что? — Учитель
сызнова хохочет. — На выучку к нему нам идти надо,
сноровку у рабочего человека перенимать. Небось гор-
лом взял? — Трофимыч никак в толк не возьмет, что
происходит, то на одного смотрит, то на другого. —
Я им выкричаться дал, а когда выдохлись, без шума
и гама мозги прочистил. — Ой ли, — сомневается
Фиолетов, — а чего же ты весь дергаешься? — Вы
мне сказать не дали. Матросы с канонерок на пристани
бузят! — Мы вываливаемся на улицу, по пути дру-
жинников собирая, бежим к порту, и все следующие
дни я только и делаю, что бегу и стреляю в белый
свет, как в копеечку. Мимо тумб афишных проскаки-
ваю, на них призыв нового командующего Бичерахова
ко всем офицерам и солдатам бывшей русской армии
вступать в Красную Армию... К Прасковье заскаки-
ваю, хлеба осьмушку приношу и мешочек орехов, фун-
та полтора. Она ревет: старый лакей, хранитель до-
ма, помер, похоронить некому, одной в доме до ужа-
сти страшно, в двери грабители ломятся... Даю ей на-
ган. — Если врваться станут, стреляй, погляди —
сюда вот нажмешь и сквозь дверь! — Она еще пуше
в рев. — Бою-юсь... — Покойника, он смердит уже,
заворачиваю в коврик-половик, выволакиваю на ули-
цу. Прасковья тащится за мной, причитает, как на де-
ревенских похоронах, всю окрестность оглашая. —
Вернись! — кричу. Она в подъезд, а я отношу мерт-
вяка в подвал соседнего дома, снарядом разрушенно-
го. Вертаюсь. Прасковья лицом мне в грудь тычется.
— Не оставляй меня. — Да кто тебя бросает! Прихо-
дить буду же. — И опять в бег свой. В комитете но-
вости, как от ветра яблоки с яблони, сыплются. В Ека-
теринодаре первый съезд Советов Северного Кавказа
постановил создать Северо-Кавказскую советскую рес-
публику. В нашем новом престольном городе Моск-
ве — только съезд Советов открылся, эсеры бузить
начали, восстание подняли, германского посла ухло-
пали, чтобы Брестское соглашение сорвать, сызнова с
немцами сцепиться. Насчет эсеров из Москвы преду-
преждали уже — повыкидывать их из местных Со-
ветов вместе с меньшевиками... Наши, как обычно, спо-

рить, но я на этот раз не успеваю их раздоры до конца дослушать — Трофимыч в сторону меня оттягивается. — Ты, кажись, без дела болтаешься. Забирай дружинников и айда с чекистами офицера одного вредного споймай.

Офицер, лейтенант, по фамилии не то Василевский, не то Васильев, как нам по дороге рассказывают, заодно с английским шпионом Мак-Донеллом заговор устраивал, скрылся, а вчера его опознали и выследили... Окружили дом. Я одного из бойцов к воротам посылаю: — Посторожи с улицы. — Он поворачивается, смотрит на меня с неподвижной ухмылкой. — Обожди, обожди, — говорю, — да я ведь тебя знаю. Контуженный ты, в феврале, когда царь в отставку подал, виделся? — Он, смеясь, плечами пожимает. Других дружинников к окнам посылаем. Мы с молодым чекистом в черной кожанке к двери подходим, прислушиваемся. Протяжные голоса. Поют, вроде как в церкви. Чекист выбирает из связки подходящий ключ, мне нашептывает: — Там коридор, по нему без шума пройдем, на цыпочках, а на пороге комнаты: руки вверх! Нам главное его живым взять... — Да ясно, — говорю, — что ты талдычишь, не впервые ведь. Дай, — говорю, — я открою. — Дверь отворяется без скрипа. Входим. Из комнаты доносится: — Безвинно убиенному великомученику Николаю вечна-я памя-ать! — Вечная память, — тянет мужской хор. — Вход в комнату портьерой занавешен. Становимся за нею. — Безвинно убиенной великомученице Александре вечная память! — Вечная памя-ать! — гудит хор. Я раздвигаю портьеру. В нос шибает ладаном. Первым вижу попка с паникадиллом в руке. За попом, чуть левее его, склонив голову, молодой, кучерявый, в военном без погон, еще какие-то люди. Слышу — рыдают. — Безвинно убиенному строку великомученику Алексею... — Пора. Отдергиваю портьеру. — Руки вверх! — кричит чекист. — Вечная памя-ать, — тянет хор. Медленно поднимаются руки. Выстрел, и кучерявый валится на пол. Ишь, ловкач, успел-таки в висок себе выпалить. Вбегают бойцы. Чекист наклоняется над кучерявым. — Он! Как же это мы?! Что я Тер-Габриэлянэ скажу! — То и скажешь своему начальнику, — говорю, — что прошляпили, опередил нас



лейтенант, без твоей помощи на тот свет удрал. Чекист вроде бабы в припадке визжит: — К стенке, к стенке всех! — Откуда только его такого взяли? Обожди, — говорю, — тебе не в Чека, вижу я, работать, а на улицах мешочниц ловить. Сперва документы проверим, потом обыск... — Спрашиваем документы — народ сборный, селянка какая-то, трое — бывшие офицеры, один, в пенсне, с бородой длинной — адвокат, остальные — мелкая шушера из чиновников. — А ты откуда, батюшка? — у попака спрашиваю. Ростом он невелик, высохший весь, а держится владыкой. — Не пред тобой, грешник, мне ответ держать, — заявляет гордо. — А пред кем, долгополый, перед всевышним, что ли? Скоро узреет он тебя. — Господа, — говорит дрогнувшим голосом адвокат, — то есть, граждане... товарищи, мы не совершили ничего противозаконного, как истинно верующие, мы, скорбя, молились за упокой погибших, и ничего более. Советская власть не запрещает... — За каких именно, интересуюсь, погибших? — спрашивает чекист. Адвокат глотает слюну и не отвечает. — За приобщившихся к лику святых, — осеняя себя крестным знамением, провозглашает попик, — государя императора всероссийского и государыни императрицы всероссийской, и наследника престола всероссийского, царевича... — Чекист присвистывает. — Вот оно что! А откуда у вас такие сведения? — Адвокат показывает на самоубийцу. — Посмотрите в нагрудном кармане... — Обыскиваем покойника, и чекист, разложив на столе документы и какие-то бумажки, находит нужную. — Да, так здесь и написано. — Читай же! — говорю я. — Написано от руки и, слабо разбирая почерк, чекист читает медленно, спотыкаясь на некоторых словах: — В ночь на 17-е в Екатеринбурге расстреляны император Николай II, императрица Александра Федоровна, наследник-цесаревич Алексей, великие княжны Ольга, Анастасия, Татьяна, Мария с при... с приближенными... — Чекист прячет бумажку в карман. — Значит, царя оплакивали? А Мак-Донелла давно знаете? — Молчат. Их мы выводим во двор. Я догоняю попака, он бредет последним и, оборачиваясь ко мне, разглагольствует, будто с паперти: — К святому делу всегда присасывались недостойные, пачкающие все на свете...

На Голгофу должны были подниматься вы, но вы нас ведете, и в сем ошибка ваша. Вы пребудете, ^{лицами} духом... — Уймись, батюшка! — говорю ему. ²⁰¹¹¹⁰ Все равно не распропагандируешь. Да и времени у тебя на это кот наплакал. — Молчи, не плоди грехи свои! Ты главного вашего — Джапаридзе знаешь? — Ну? — Не нукай, аки на скотину бессловесную. Ежели знаешь, скажи ему, священник из храма святого Георгия, что в Великом Устюге, поклон передавал... Господи, спаси и помилуй, да сбудется воля твоя... — Нас догоняет контуженный. Попик взъедается на него: — Чему смеешься, грешник? В ад попадешь, черти над тобой смеяться станут. — Боец смеется неживой улыбкой.

Идем обратно. За Баладжарами тишина — турки притихли. Чекист к Тер-Габриэлян у спешит докладывать, бойцов — на отдых, я на свое место направляюсь. Про царя и семью его уже знают, даже распотпали, что сообщение пришло из-за Каспия, эсеры флотильские по корабельному радио приняли и, видать, распространили среди своих. Когда приходит Учитель, я ему передаю поклон от попаки. Он лоб морщит. — Священник? Из Великого Устюга? А-а, был, был такой любопытный священник. Где ты с ним свиделся? — Я рассказываю. У Учителя на скулах под кожей желваки ходят. — Чего-то не понял я, был он заодно с монархистами? — Панихиду, — говорю, — по царю он служил, сам слышал, видел, а был ли заговора участник... — Жаль, жаль, — говорит Учитель, со вздохом поворачивается к Корганову и, слышу, насчет смерти царя с ним толкует. У окна сидит, ногу на ногу закинув. Солнцев помалкивает, со вниманием поглядывая на всех своими голубыми, как незабудки, глазами. — Солнышко, — осведомляется Учитель, — знаете про слух о Николае II? — Солнцев кивает. — Вероятно, так оно и есть, выдумывать про расстрел бессмысленно. А вы знаете, товарищи, пророчество гениального Пушкина? Почти столетие тому назад им было написано: «Самовластительный злодей! Тебя, твой трон я ненавижу, твою погибель, смерть детей с жестокой радостью вижу...» — Учитель задумывается. — Я не читал этих стихов. — А вам не кажется, — спрашивает Корганов, — что слова Пушкина не столько пророчество, сколько завещание?

Гугули ТОГОНИДЗЕ

СКАЗКИ

КРОХОТНАЯ ЛЕДЯНАЯ СОСУЛЬКА И ЛУЧ СОЛНЦА

КАК-ТО ночью из сбегających капель тающего снега родилась крохотная Ледяная Сосулька, прозрачная вся, с такой же ледяной бахромой вокруг тоненького тельца.

Висели на водосточной трубе и другие сосульки — пузатые, остроконечные, торчащие в стороны, будто обиженно отпрянувшие друг от друга. Одетые в ледяные шубки, скованные и оцепеневшие, они свисали, словно ключья выстиранной шерсти.

Будто испуганный птенчик, прижималась к матери маленькая Сосулька, такая же застывшая и неподвижная, как все.

— Мы что, так и будем всегда висеть?! — спросила она в первый же день своего появления на свет.

— Ка-а-аа-ак? — всполошились ледяные сосульки.

— Что за вопрос? Такого мы еще не слыхали...

— Такое даже в голову никому не приходило!

— Да и кто бы посмел сказать такое вслух?!

— Ай-ай-ай, как изменились времена!

— Не говорите!

— Ну, позвольте хотя бы в окошко заглянуть, — попросила маленькая Сосулька.

— Помалкивай, дурочка, не шевелись!

Что ей оставалось делать, она и не шевелилась, только тихо, совсем тихо прошептала:



Грузинская писательница Гугули Тогонидзе впервые появляется на страницах «Литературной Грузии». Уроженка Тбилиси, она закончила философский факультет Тбилисского университета. Увлекалась поэзией, писала стихи, и в печати поначалу выступала как поэт. В дальнейшем

Г. Тогонидзе пишет сказки и рассказы для детей, многие ее произведения аллегорического характера интересны и для взрослых. В мире ее фантазии основа основ — добро, красота, борьба со злом и несправедливостью. Мягкий лиризм присущ ее творческому почерку.

Гугули Тогонидзе глубоко любит родную природу, хорошо знает ее и с большим мастерством пользуется этим знанием в своем творчестве. Персонажи ее произведений — капли дождя, облака, лучи солнца, птицы, цветы, феи наряду с одушевленными героями — детьми или взрослыми людьми нарисованы убедительно, живо и тепло и, конечно, надолго запоминаются маленьким читателям.

Предлагаем две сказки-аллегии в переводе Тамары Шамиль, для которой эта публикация является первым шагом на ее творческом пути.

Камилла КОРИНТЭЛИ

— Хорошо, но до каких пор? Сколько можно так висеть?

— Замолчи! — приказала мать. — Прижмись ко мне, а то свалишься, и молись, чтобы мы никогда не двигались и вечно слышали треск Мороза.

Маленькая Сосулька огляделась вокруг: низко нависшее небо почти касалось заиндевевших до самых верхушек, дрожащих от стужи деревьев. Белое, проз-

рачное покрывало льда трещало под тяжестью шагов беспечного ветра. Со стуком падали вниз сорвавшиеся с водосточной трубы сосульки, нарушая спокойную дрему ночи.

— О-о-ох! — стонали упавшие сосульки.

— Держитесь! — кричали им вслед оставшиеся.

— Грех жаловаться, до теплых дней еще далеко.

Спаси нас от Солнца, Трескучий Мороз!

— А что такое Солнце? — спросила тогда Крохотная Сосулька.

— Тс-с-с! — зашипела пузатая.

— Какое оно? — не унималась малютка. — Почему я никогда его не видела?

— Сейчас оно светит редко, — шепнула ей мать.

— Светит?! Значит, оно прекрасно. Ведь звезды и луна тоже светят. Скажи, оно прекрасно?

— Увидишь, не торопись. Может, завтра... а может, и сегодня...

— Ты замолчишь наконец?! — вспыхнули ледяные сосульки. — Несешь всякую чушь, мы тут молимся, чтобы оно никогда не выглянуло из-за туч и лучи его не обрели силу, а ты...

Малютка поняла, что от нее скрывают нечто страшное и таинственное. Но не страх будоражил ее, нет, — пытливость: очень уж ей хотелось увидеть Солнце.

И вот настал день, когда серое небо прорезал золотистый сияющий луч.

Малютка глаз от него оторвать не могла.

— Ай, ой, Солнце, Солнце! — захныкали сосульки — пузатые, остроконечные, головастые.

— Ох! — восторженно выдохнула малютка.

Заулыбались облака, зазолотился воздух. Как искры, засверкали капли тающего снега, кромки льдинок, снежинки. Золотистым узором покрыло Солнце висящие на водосточной трубе ледяные сосульки, обвил ожерельем шею малютки.

— Я тоже, тоже становлюсь красивой! — словно птенчик, защebetала Крохотная Сосулька и восторженно взглянула на сияющее светило. — Как оно прекрасно!

— Молчи, несчастная! — шепнула ей мать.

«Тук, тук!» — одна за другой падали на землю тающие сосульки.

— Нас сбросило Солнце! — вскрикивали

— Ай, ой! — стонали оставшиеся.

— Прижмись, крепче прижмись ко мне, мой холод спасет тебя... Поняла теперь, почему мы боялись Солнца?

— А отчего так рады ему птицы? — в смущении спросила крошка. — И деревья... они тоже выпрямились, вытянули верхушки, будто взлететь собираются... — недоумевала она и тут же вспомнила, что вчера, в снег и в метель, когда ледяные сосульки шумно и радостно звенели, на снегу валялась маленькая замерзшая птичка, похожая на вырванный из земли корешок.

— Так почему же птицы радуются Солнцу? — повторила малютка.

— Ха-ха-ха! — засверкали синими зубами ледяные сосульки. — Глупая, то, что хорошо для одних, для других плохо и уж никак не может быть прекрасно.

— Да, но Солнце прекрасно! — и Крохотная Сосулька очарованно уставилась на Солнце.

— Замолчи, несчастная! Солнце нельзя любить!

— Боже! Она полюбила Солнце! — зашумели сосульки — пузатые, остроконечные, головастые...

— Ни одна сосулька еще такого себе не позволяла!

— Но почему нельзя любить Солнце? — удивилась малютка.

— Еще спрашиваешь?! — посинели от злости сосульки.

...С утра малютка была полна ожидания. С безудержным трепетом ждала она появления Солнца, хотя порой страх перед неизведанным и проникал в ее сердце.

— О, как я хочу снова увидеть его! — тихо, почти неслышно шептала она.

Мать угадала причину ее волнения и с глубокой печалью спросила:

— Тоскуешь по Солнцу?

— Да, — прошептала Крохотная Сосулька.

— Глупышка!..

...Однажды, когда Солнце послало на землю не

один, а много-лучей сразу, сосульки заплакали, причитали:



- Как хорошо было зимой!
- Сколько в нас было достоинства!
- Настал наш последний час!
- Мне дурно, я слабею, я хуюеу...
- Я таю...
- Сейчас налетит ветер и...
- Я вся дрожу...

Сосулька-мать тоже стала подтаивать.

Малютка украдкой поцеловала Луч Солнца и вдруг почувствовала резкую боль. У нее закружилась голова, глаза наполнились слезами, на миг ей показалось, что она теряет сознание.

— Тук! Тук! — со стуком сыпались сосульки, а некоторые просто таяли на месте.

Крохотная Сосулька не могла оторвать глаз от Солнца. Один из его лучей ласково прильнул к ней. Быстрее молнии отпустила малютка руки, которыми держалась за мать. Превращаясь в каплю, как на невидимой нити, застыла она в воздухе. Сильный порыв ветра подхватил ее и унес к небу.

— Я жива-а-а! — радостно крикнула капля, уносясь все выше и выше... и где-то далеко в глубине неба слилась с яркими красками радуги.

ЖЕНЩИНА ИЗ ФОНТАНА

ЗДАНИЕ цирка было окружено обширным садом. Украшением сада был фонтан, в центре которого стояла женская статуя.

В цирке работал один чудаковатый мужчина. Был он большим любителем порядка и славился как человек честный и образцовый, хотя и со странностями. Одной из странностей его было и то, что, зная за собой славу человека образцового, он никогда не сомневался в своей правоте.

Временами чудака даже посещали музы, и тогда он писал стихи.

И вот однажды, когда он шел через сад, ему снова явилась муза. Увлеченный беседой с ней, улыбаясь, он подошел к фонтану и загляделся на переливы воды.

— Кому ты улыбаешься? — окликнул его проходящий мимо приятель.

— Улыбаюсь? — пришел в себя чудак и как бы между прочим, объяснил: — Мне улыбнулась статуя из фонтана, и я улыбнулся ей в ответ.

— Эге, — удивился приятель, — да ты шутить настроен.

— Нет, это правда, — заупрямился чудак.

Все знали, что он со странностями, поэтому приятель только молча оглядел его и пошел дальше.

— Гм! — недовольно произнес чудак и уставился на статую.

«А вдруг она и в самом деле улыбнется?» — подумал он и подошел к фонтану поближе. Плещущиеся на поверхности воды тени склоненных ив увлекли его в страну грез. Острое желание чуда внезапно вспыхнуло и разгорелось в его сердце, как пламя; вероятность чуда уже не вызывала в нем никаких сомнений.

Мужчина улыбнулся статуе так, как улыбаются любимой женщине, и чудо произошло — статуя улыбнулась в ответ.

— Так я и знал! — самодовольно проговорил мужчина и совсем не удивился, когда статуя сдвинулась с места и, сидя верхом на огромной рыбе, поплыла в его сторону.

Немного удивило его то, что рыбы до сих пор вроде не было. Потом он решил, что ошибся, и швырнул в воду камешек.

— Ой! — вскрикнула женщина. — Не надо...

Не успел он опомниться, как женщина подплыла к краю фонтана. Она улыбалась.

— А вот и я! — она шлепнула рукой по воде, потом плеснула холодными каплями в лицо мужчине и провела прохладными пальцами по его лбу.

— Почему ты шалишь?

— Я двигаюсь! — засмеялась женщина и снова начала шлепать руками по воде.

«Вот проказница», — подумал мужчина и, приподняв бровь, спросил:

— Дорогая, надеюсь, ты знаешь, что сейчас самое главное?

— То, что наконец я двигаюсь.

— Нет, главное не это. Главное для тебя — это верить каждому моему слову и поступать так, как я скажу.

Женщина расхохоталась и, как рыба, забилась в воде. Потом снова брызнула водой на мужчину. «Не успел я с ней познакомиться, как она меня всего облила водой», — подумал мужчина, снова приподнял бровь, сделал глубокий вдох и авторитетно спросил:

— А знаешь ли ты, что вообще самое главное?

— Улыбка!

— Ошибаешься. Порядок. Надо знать, как вести себя.

— О, это я знаю, — улыбнулась женщина, — так, чтобы всем было хорошо, не правда ли? Садовник улыбается, когда цветы хорошо ухожены. Люди радуются при виде цветов. В сильную жару к фонтану прибегают дети, опускают в воду ручонки, посматривают на меня и улыбаются, значит, порядок — это улыбка. Вернее, это когда все довольны.

— Ты заблуждаешься. Улыбка не всегда выражает удовольствие. Например... — мужчина посмотрел на часы. — Меня ждут коллеги. Продолжим завтра! — и резко повернулся к ней спиной.

— Ты уходишь? — обиженно спросила она бдогонку.

На другой день мужчина пришел к фонтану вовремя. Его так поразило, что женщины нет на месте, что он чуть было не влез в воду. Потом спохватился, что должен выступить на арене и не может предстать перед зрителем в мокрой одежде.

— Ты пришел? — услышал он ласковый голос. — Я выбралась из фонтана!

— Что-о?!

— Хочу научиться ходить! — Глаза женщины запылали, как два ярких костра.

— Как это? Вы живете в фонтане и не должны покидать его!

— Тебя так долго не было... я встревожилась.

— Я же сказал — «приду завтра».

— Я не знаю, что значит «завтра». Я так соскучилась по тебе, что выбралась из фонтана. Стоять на земле было очень больно. Я в кровь поранила себе

ноги о гравий, но все же старалась идти. И знаешь, я заметила, что там, где я ступаю, вырастают цветы.

Мужчина не догадывался и не стремился узнать, о чем она думает. Он повертел в руках трость и с настойчивостью чудака сказал:

— Водяная женщина не может ходить по земле. Это невозможно.

Прошло время. Мужчина долго не заходил в сад, ему было некогда. Женщина печально смотрела на дорогу. По ночам, когда все засыпало, она выходила из воды и с трудом брела по залитой лунным светом тропинке, дрожа от боли, как раненая птица. Там, где ступала ее нога, на земле распускались красивые, ярко-красные цветы.

— Я научилась ходить по земле! — объявила она мужчине, когда он наконец пришел в сад. И в ее глазах, похожих на зеленые озера, засверкало солнце.

— Ну да?

— Правда, правда! Посмотри, все эти цветы выросли там, где ходила я.

Сперва мужчина не обратил внимания на ее слова, но потом огляделся и действительно увидел множество прекрасных незнакомых цветов. Но он был со странностями и поэтому не поверил ей.

— Хватит шутить! — отрезал он.

Женщина растерялась.

Он окинул взглядом свой новый, с иголки фрак и белоснежные перчатки:

— Сегодня у меня премьера, я буду играть роль джентльмена.

— Ты возьмешь меня с собой? — глухо спросила женщина.

— Если ты выйдешь из воды и босая появишься на людях, это будет нарушением приличий. А что самое главное, ты не умеешь ходить.

— Говорю же, я научилась! Посмотри, сколько цветов, вся тропинка заросла.

— Разве можно было портить тропинку?

Лицо женщины помертвело.

— Зачем ты позвал меня? — вырвалось у нее.

— Я, позвал?! Я просто стоял и улыбался своим мыслям.

— Твоя улыбка осветила меня, и я ожила, стала

двигаться. Вначале эти цветы просто развлекали меня, но потом, когда я услышала от посетителей сада, что при виде их люди забывают о своих горестях, я почувствовала себя счастливой и старалась ходить почаще. Взгляни, сейчас я пройдусь.

«Если она сможет ходить, я останусь в дураках», — подумал мужчина и сказал:

— Как вам не стыдно, хорошо воспитанные люди не ходят босиком в общественном месте.

Потом вдруг его одолело любопытство:

— А впрочем, попробуй... хотя я уверен, что ты и шагу не сможешь ступить.

«Не сможешь, не сможешь!» — как гул колокола, обрушилось на женщину. Она вздрогнула.

«Вдруг именно сейчас у меня ничего не получится?» — подумала она, и ей стало страшно.

— Я жду, иди!

«Не сможешь, не сможешь!» — звучало в ушах у женщины.

Воцарилась великая тишина.

Как голое дерево застыла женщина, не в силах сдвинуться с места.

— Ну вот, я же сказал! — ухмыльнулся мужчина.

В это время мимо фонтана проходила какая-то дама.

— А, это вы, — улыбнулся ей мужчина и приготовился было снять шляпу... как вдруг мощный порыв ветра сорвал с него шляпу и фрак, закрутил ими в воздухе и куда-то унес.

Вокруг стало темно от пыли...

Так же внезапно, как и налетел, ветер стих.

Пыль улеглась.

Мужчина в изумлении огляделся вокруг — ярко-красных цветов нигде не было. Исчезла и женщина с глазами, похожими на озера.

В центре фонтана стояла безжизненная статуя. По волосам и плечам ее стекала вода. На лице не было и следа улыбки.

Снова и снова приходил к фонтану мужчина...

Никогда больше не улыбалась ему статуя.

ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

ЭТО Я — САНДРИК

ЗАЗВОНИЛ телефон. Марика Николаевна, месившая на кухне тесто, обтерла руки тряпкой и взяла трубку.

— Здравствуйте, Марика Николаевна. Это я — Сандрик. Можно мне к вам прийти?

Марика Николаевна совсем упустила из виду, что было воскресенье. С тех пор как она ушла на пенсию, все дни стали для нее одинаковыми. Вот и сейчас, еще не прибрав квартиры, взялась за тесто. Хотела испечь хачапури. Потом собиралась на рынок. Потом -- стирка...

— Так можно? — прозвучал в трубке нетерпеливый голосок.

И тут Марика Николаевна, всерьез рассердившись на себя, поспешно ответила:

— Конечно, можно. Вот я даже хачапури затеяла...

— Спасибо, -- радостно отозвался Сандрик.

«Так с чего же мне начать?» — подумала было Марика Николаевна, как раздался звонок у входной двери. Поспешив к ней, Марика Николаевна отворила защелку. На пороге стоял Сандрик и улыбался. Видимо, он звонил по телефону из будки около дома.

Увидев на лице бабушки растерянность, постарался ее успокоить. Быстрым движением взрослого поправив очки, сказал:

— Вы не расстраивайтесь. Я вам не помешаю. Буду сидеть тихо. Если позволите, посмотрю журналы, что лежат на столе.

— Да, да, конечно. Раздевайся. — И снова на кухню.

Тем временем Сандрик снял шапку, пальтецо, размотал шарф на тонкой шее. Хотел все это повесить на вешалку, но не дотянулся и аккуратно сложил на стуле. Пригладив обеими руками темные волосы, вошел в комнату. Взял самый яркий журнал и мышонком примостился в углу дивана.

Марика Николаевна хлопотала у газовой плиты. Бросила взгляд на красный будильник, стоявший на холодильнике, и ахнула: «Уже три часа! Мальчик, наверное, проголодался...»

— Сандрик, — позвала она. Он тут же пришел.

— Мой руки и садись за стол.

Сандрик деловито направился в ванную. Став на цыпочки, заглянул в зеркало над раковиной. Открыл кран с горячей водой. С явным удовольствием намылил душистым круглым мылом руки, тщательно смыл пену и насухо вытер пестрым мохнатым полотенцем.

Горячий борщ уже дымился в тарелке.

— Ешь. Бери хлеб и ешь как следует, — приговаривала Марика Николаевна.

— Спасибо. Но хлеб я есть не буду, — твердо заявил Сандрик.

— Это еще почему?

— Мне нельзя.

— Отчего нельзя?

— Чтобы не растолстеть.

— О чем ты говоришь? Ведь ты — пушинка не-весомая...

— Вот и хорошо, — парировал Сандрик, — зато мне легко и бегать, и плавать...

— Кто тебе это внушил?

— Никто. Я сам так решил.

— Но почему? — недоумевала Марика Николаевна.

— Потому... Потому что... — не решался признаться Сандрик, но наконец вымолвил:

— Космонавтом хочу стать. И готовлюсь. Потому во всем тренирую себя. Вырабатываю волю. Приучаю себя к трудностям.

Марика Николаевна развела руками.

— Это, безусловно, хорошо. Но космонавты должны быть прежде всего здоровыми, крепкими физически. А ты — не хочешь есть хлеб...

— Но ведь я ем борщ и многое другое, что дает силы.

— Ладно. А хачапури тебе можно?

Сандрик задумался. Ему очень хотелось домашнего хачапури. Оно так аппетитно пахло. Но... Ведь он вырабатывает характер. Мало ли чего ему хочется? Это еще не значит, что он разрешит себе...

Давясь слезами, Сандрик упрямо мотнул головой и зачерпнул полную ложку борща.

Марика Николаевна вышла из кухни, увидела аккуратно сложенную одежду мальчика на стуле, и сердце ее сжалось от какого-то смешанного чувства жалости, нежности и уважения к этому маленькому мужчине.

Когда она вернулась, Сандрик старательно мыл щеточкой в мойке тарелку, в которой ел борщ. Поставив ее в сушилку, поблагодарил за обед и пошел одеваться.

— Если хочешь, оставайся. Переночуешь у нас, — вдруг предложила Марика Николаевна.

— А папа придет? — спросил Сандрик.

— Думаю, к обеду будет.

— Тогда я посижу еще немного. А потом все же поеду домой. Мне ведь долго очень ехать. На другой конец города. Мама будет волноваться. Да и деда Левани рассерчает, — рассудительно говорил Сандрик.

— Рассердится, — привычно поправила его Марика Николаевна.

Сандрик потупился.

Стараясь смягчить неловкость, Марика Николаевна сказала:

— Хочешь, я буду заниматься с тобой по-английски, как в свое время занималась с твоим папой? Но для этого ты должен будешь заучивать ежедневно пятьдесят слов.

— Да, хочу. Я все хочу знать. И уметь — тоже.

— Это похвально. А времени тебе на все хватит?

— Если не будут мешать.

— А кто же тебе может помешать?

— Сандрик помялся.

— Люди к нам приходят. Шумят...

— Почему шумят?

— Пьют потому что...

— С кем?

— Да с дедой Левани.

— Что же он мешает тебе заниматься?

Сандрик вспыхнул:

— Вы не думайте... Он когда не пьян, меня тоже любит...

Чтобы переменить тему этого неприятного разговора, Марика Николаевна задала вопрос:

— Как же ты в такую даль сам добираться будешь?

— А я привык. И на бассейн тоже сам езжу. Знаете, где это? Туда мне в два раза дальше, чем к вам. Целый час еду. Да еще с пересадкой.

Потом, слегка усмехнувшись, добавил:

— Я ведь маленький. Так и ныряю между ног, когда в трамвай, автобус или вагон метро вхожу.

— А ты все же поосторожней, — забеспокоилась Марика Николаевна.

Пришел Георгий. Услыхав его голос, кот Никодим, огромный, пушистый, полосатый как тигр, соскочил с кухонного буфета, где все это время сидел, пригревшись на солнце, и одним прыжком очутился у его ног.

— Молодец, Никодим. Можешь в цирке выступать, — одобрил кота Георгий.

— А, это ты? — обратился он к Сандрику, стоявшему в дверях. — Ну, иди, поздороваемся.

Зардевшись, Сандрик шагнул к отцу, протянув маленькую ладошку.

— Видишь, Никодим, какой гость у нас? — как-то неловко произнес Георгий, держа в своей руке худенькие шершавые пальцы сына.

Никодим замурлыкал и начал тереться о сандрикины ботинки. Мальчик нагнулся и с усилием поднял кота на руки.

— Да он больше тебя! — усмехнулся Георгий.

Сандрик тоже хмыкнул и опустил Никодима на пол.

Началась веселая возня.

— Хватит вам, Георгий, иди, обед остынет, позвала Марика Николаевна.

— Ну, я пошел, — сказал Сандрик. — А то поздно уже.

— Приходи еще, — погрузнев, отозвался Георгий.

— Приду. Я в другое воскресенье все учебники и тетради заберу и приду, чтобы переночевать...

— Вот и отлично.

Натянув шапку на голову, обмотав вокруг шеи шарф, надев пальто, Сандрик потянул за дверную ручку.

— До свиданья, — попрощался он и вышел.

Георгию что-то расхотелось есть. Он вяло водил ложкой по тарелке.

Марика Николаевна нарезала хачапури.

Никодим снова водворился на буфет.

Нависло тягостное молчание.

— Что-то надо делать, Георгий, — первой заговорила Марика Николаевна.

— Что!? — вскинул голову Георгий.

— Жалко мальчика, — вздохнула Марика Николаевна.

— Мама, не надо... Пусть, если хочешь, перебирается к нам. Только переговоры с Нато бери на себя.

— Я знала, Георгий, что ты так скажешь. Когда Сандрик придет в следующее воскресенье, я его оставлю у нас. Ты же видишь, как он к тебе тянется...

Больше в этот день они не говорили о мальчике. Но все мысли Марики Николаевны были уже о том, как и где она устроит внука, как займется его воспитанием. Вот только Нато... Согласится ли она?

В хлопотах и заботах незаметно пролетела неделя.

Марика Николаевна уже кое-что припасла для Сандрика и с нетерпением ждала его звонка.

И действительно, вскоре зазвонил телефон. Она взяла трубку.

— Это я — Сандрик.

— Наконец-то, — вырвалось у Марики Николаевны. — Ну, ты идешь?

Молчание.

— Ты слышишь меня?

В ответ — странные звуки, похожие на всхлипывание.



სმონი
100000

— Что с тобой, мальчик мой?

— Марика Николаевна, я позвонил, что не придет.

— Как это не сможешь? Что случилось?

— Мы уезжаем...

— Как так.. — растерялась Марика Николаевна.

— Я с мамой уезжаю насовсем. Очень далеко.

— Куда?!

— Этого я не знаю. Мама не говорит. Сейчас подойдет такси...

— Сандрик...

— Поцелуйте папу. Никодиму — привет. Вам за все спасибо.

— Что ты говоришь, мальчик?

— Когда вырасту, я все равно найду вас...

В трубке раздались медленные гудки.

Марика Николаевна так и не положила ее на место.

Никодим прыгнул с буфета и тихо лег у ног, глядя ей в лицо светлыми круглыми глазами.

НА ДАЧЕ

УЖЕ сгущались сумерки, когда из шумного, душного и пыльного города приехали гости. Сейчас все сидели на веранде, наслаждаясь тишиной и прохладой вечернего леса. Изредка на верхушках сосен глухо хлопала крыльями птица, проносилась вдали электричка... Или вдруг за стеной всхлипывал во сне соседский ребенок. В воздухе дрожали приглушенные звуки транзистора. Все это еще больше подчеркивало уют пригородной дачи, навевало легкую грусть. Ведь через два-три часа надо снова возвращаться в город, потонувший в знойном мареве, желтоватом от множества электрических огней.

Все молчали, внимательно наблюдая за пестрой бабочкой, которая упрямо билась об оконное стекло, вместо того чтобы лететь в лес.

Гигина мама тем временем накрывала на стол. Гига крутился тут же, но его никто не замечал. И только когда молчание слишком затянулось и надо было как-то нарушить оцепенение уставших людей, папа предложил вниманию публики своего сына.

— А ну-ка, Гига, — сказал он торжественно, не желаешь ли ты рассказать нам сказку про ласточек, которые летели в дальние края?

Но Гиге совсем не хотелось рассказывать эту сказку. Она была длинная-предлинная, рассказывал он ее, по его же собственным, хотя и не очень точным подсчетам, «двадцать-пятнадцать-семнадцать», короче говоря, много, много раз. И ему она уже не казалась интересной. Тогда папа отвел его в сторону и сказал: если Гига повторит сейчас сказку, он купит ему тот красно-синий самокат, который они однажды видели в «Детском мире».

И Гига рассказал сказку о том, как долго летели в теплые края ласточки и что с ними случилось в пути. Потом он декламировал подряд все стихи, какие только знал. Однако гвоздем программы, предложенной папой гостям в исполнении сына, было чтение передовой статьи одной из газет. Гига действительно читал бойко и выразительно. Очень уж комично звучали в устах четырехлетнего малыша эти «взрослые», очень важные и серьезные фразы.

Ободренный успехом, Гига не унимался, хотя стол был уже накрыт и гости все внимание переключили на молодую хозяйку, которая так быстро соорудила сытный и вкусный ужин. Тогда Гига притащил из комнаты пачку фотографий и стал показывать их, объясняя, что это дядя Котэ в воскресенье сфотографировал его в сосняке. Потом каждую из этих карточек он надписал крупными печатными буквами: «Это я над аче. Гига» и подарил гостям.

Наконец с уговорами, угрозами его уложили спать. Но он долго не мог уснуть, лежа с открытыми глазами и что-то бормоча...

Утром, умывшись и позавтракав, Гига долго топтался в комнате, хотя мама давно разрешила ему спуститься во двор.

— Что ты все в комнате вертишься, иди на воздух, — сказала мама.

Тогда Гига заявил, что он не желает идти вниз.

— Почему?

— Мне скучно..

— Это еще что за новости? Забирай игрушки и иди вниз, — строго приказала мама, у которой было много всяких неотложных дел.

Но Гига не двигался с места и сердито сопел носом.

В дверях стояли Паата и Лали. Паата, как всегда, глядел на Гигу исподлобья и смешно басил: «Дай самосвал...»

На нем были длинные, ниже колен, штанишки, большие ботинки и голубая в синюю полоску майка. Мягкие, выгоревшие на солнце волосы ровными прядками падали на лоб. Он напоминал маленького гнома, с виду сурового, а на деле добродушного и веселого.

Лали была в коротеньком зеленом платьице, с большим белым бантом на голове. Беленькая, хрупкая, нежная, она походила на весенний подснежник. На Гигу смотрели ее ясные глазенки, и видно было, что она никак не может понять, что тут происходит. Неожиданно Лали повернулась и, быстро семеня крохотными ножками, побежала по веранде. Паата последовал за ней. Заложив руки за спину, он высоко поднимал ноги в больших, не по росту ботинках старшего брата.

Вскоре и Гига последовал за ними. На почтительном расстоянии он наблюдал, как Лали медленно наполняла все свои баночки, коробочки, ведерочки влажным желтым песком, а Паата, сидя на корточках, усердно сооружал из того же песка неуклюжую башню собственной архитектуры.

День прошел обычно. После работы приехал папа. Как всегда, он посадил Гигу на плечи и «катал» его вокруг дачи до тех пор, пока не устал. Затем возил его на велосипеде по просеке.

Уже перед самым сном Гига, наконец, тихо спросил его:

— А самокат?

— Видишь ли, сегодня у меня был трудный день... Времени не было... — оправдывался папа.

— А я уже совсем забыл сказку про ласточек, — вызывающе сказал Гига. — Пусть ее теперь рассказывает Паата. — И укрылся одеялом с головой.



КАК-ТО, вернувшись после работы домой, на вазе, как на подставке, меховая шапка. Спрашиваю — чья и откуда?

— Нина Георгиевна прислала для тебя, — сказала сестра. — Если подойдет, занеси ей деньги.

И вот, надев эту шапку, отправилась я к Нине Георгиевне.

Первыми меня встретили дети. Они радостно бросились ко мне, обхватив за ноги, и потащили в комнату. Но тут-то и произошло неожиданное. Тата вдруг насупилась, отошла в сторону и молча, внимательно стала следить за мной из-за спинки стула. Гиюшка стремительно взобрался на кушетку, протянул ко мне ручонку и потребовал:

— Отдай шапку! Это наша шапка!

Смущенная бабушка старалась увещевать внуков, убеждая их, что это не та шапка, а совсем другая, только похожая. Но ничего не помогало. Дети узнали шапку, присланную матерью из далекого города, где она жила.

Я поняла свою оплошность и сидела молча, размышляя, как исправить положение.

Дети тоже притихли, враждебно глядя на меня.

— Вот не думала, что это так на них подействует, — оправдываясь, говорила Нина Георгиевна. — Шапку эту Тамара купила себе, потом, видимо, она ей чем-то не подошла. Ну и положила в посылку вместе с гостинцами для детей. Нам она ни к чему. Вот я и решила ее продать. Деньги всегда нужны...

Не зная, что ответить, я спросила Нину Георгиевну, не собирается ли Тамара приехать повидать детей.

Нина Георгиевна как-то сразу сникла.

— Тамара ничего об этом не писала, — сухо сказала она.

Мне стало неловко. Поняв, что все равно не смогу носить эту шапку, я торопливо попрощалась, вышла в переднюю, сняла шапку, положила ее на столик перед зеркалом и медленно спустилась по лестнице...



ВЧЕРА после окончания уроков Омари, который учится с Михако в одном классе, сказал ему:
 — Приходи после занятий к нам. Сегодня день моего рождения.

На это Михако ответил:

— Зачем я приду? Это же твой, а не мой день рождения.

Михако шесть лет. В этом году он пошел в школу. Учится хорошо. Читает бойко. Пишет чисто и красиво. Поет лучше всех. Голосок у него звонкий — так и льется.

Одет Михако всегда опрятно, даже щеголевато. Вот только одно огорчает домашних и учительницу — очень уж он заносчив.

У бабушки на это всегда есть готовый ответ.

— Весь в отца, — говорит она с презрительной миной.

Мама не возражает, иногда даже поддакивает бабушке.

Когда об отце говорят неуважительно и во всем плохом, что есть в нем, Михако, винят его, в мальчишке медленно растет и подступает к горлу ненависть к домашним.

Он никогда не видел отца. Знает о нем только то, что его фамилия Николаишвили. Эту фамилию в их семье носит один Михако. И поэтому хотел бы во всем походить на своего отца. Пусть мама сколько угодно попрекает его, если ей в сыне что-нибудь не нравится, а бабушка твердит свое привычное:

— Что ты от него хочешь, такой уж уродился, весь в отца...

Михако все равно останется таким, каков есть. Ведь, судя по словам мамы и бабушки, он похож на человека с той же фамилией, что носит сам. А отец у него не может быть плохим — уверен мальчик.

Что из того, что он его никогда не видел и не знает даже, где он живет? Что из того, что домашние им почему-то недовольны? Они ведь многими недовольны — и дедушкой, и соседкой, и им... И хотя, не отдавая себе отчета в том, почему так поступает, Михако никогда не спрашивает об отце, он знает, верит,

что обязательно увидит его, убедится сам и докажет другим, что его папа очень хороший, смелый, честный и умный человек. Словом, лучше всех.

Но об этой его мечте никто не знает. Ни бабушка, ни мама. Ни, конечно, папа...

«ЖУЧОК»

НАНА — маленькая и чернявая, как жучок. Ее так и называют за то, что она везде вертится, во все вникает. И только и ищет предлога, чтобы заглянуть к соседям.

— Телепони, — и бегом обратно.

Это значит — меня зовут к телефону.

Но телефон молчит, трубка лежит на месте.

В ответ на мое недоумение Нана невозмутимо отвечает:

— Икнэба¹.

Как-то после дождя я оставила зонт раскрытым на балконе. Нана долго вертелась вокруг него, не зная как им завладеть. Пока она спала, зонт высох, и я его убрала. Проснувшись и не обнаружив зонта на месте, Нана ворвалась ко мне в комнату:

— Жонтики сад арис?²

— Спрятала.

Так вот мы с ней и изъясняемся. И прекрасно понимаем друг друга.

Однажды, когда у меня были гости и среди них — дети, Нана решила, видимо, всех удивить. Она стала в позу и объявила:

— Баебо, ахла чумад³.

И начала декламировать:

Пиф, паф, ой-ой-ой,
Умирает жайчик мой...

Нана старалась очень, четко выговаривала каждое слово, но с «жайчиком» все же не совладала.

¹ Будет (груз.).

² Где зонтик? (смешанный рус.-груз.).

³ Дети, теперь тихо (искаж. груз.).

ХРАНИТЕЛЬ *Документальная* СОКРОВИЩ *повесть*

Тбилиси. Улица Ртищева. Здание посольства Советской России. У входа вооруженный патруль. Приемная посла на втором этаже набита посетителями. Среди них — приехавшие из Владикавказа, Баку, Астрахани, Еревана — солдаты, курьеры, горожане, замученные карательными отрядами Кедиа и перешедшие на сторону красных люди разных национальностей и вероисповедания.

Сотрудник посольства, временно исполняющий обязанности посла, Серго Кавтарадзе, высокий, видный мужчина, докладывал о сложившейся обстановке прибывшему из Москвы представителю Советской России. К словам Кавтарадзе внимательно прислушивались ответственные работники посольства Юревич и Лебедев. Кавтарадзе выразил глубокое возмущение по поводу ареста Шеймана.

— Среди мирного населения уже участились массовые выступления против меньшевиков. Пламя восстания, еще в середине февраля поднявшееся в Нижней Картли, перекинулось в другие районы и охватило почти всю Грузию. Созданный в Борчало Ревком под председательством Филиппа Махарадзе развернул на месте большую работу. Члены Ревкома Мамия Орахелашвили, Шалва Элиава, Саша Гегечкори организуют на месте отряды для свержения меньшевистской власти. Руководство Кавказского фронта разработало план военных операций по оказанию помощи трудящимся Грузии, в котором предусматривалось и сотрудничество Одиннадцатой и Девятой армий, а также Терской группы с отрядами восставших. Фронтное начальство считало захват столицы Грузии — Тифлиса задачей особой важ-

Продолжение. Начало см. в № 5.

ности. Поэтому главным направлением продвижения войск было выбрано шоссе, проходившее параллельно железнодорожному полотну и соединявшее Баку с Тифлисом. Для удара в этом направлении была сформирована сильная группа, в распоряжении которой находились тридцать вторая и девятая поддивизии, двенадцатая кавалерийская дивизия, пять бронепоездов, четыре танка и шестнадцать самолетов. Частям Красной Армии был дан приказ в короткое время захватить Красный мост у границы Грузии и Азербайджана и после форсированного перехода через реки Храми и Куру начать решительное наступление на Тифлис. Но, — продолжал Кавтарадзе, — руководству меньшевистской партии нетрудно было догадаться, что главный удар Красная Армия нанесет по Тифлису, в связи с чем большое внимание было уделено обороне города. Самые сильные отборные части — «юнкеров» и «народную гвардию» — меньшевики расположили в Коджори и Соганлуги...

Дверь неожиданно распахнулась. Быстрым шагом вошел секретарь в военной форме и, став навытяжку перед Кавтарадзе, четко доложил:

— Прибыл связной фронта. Просит срочной встречи с вами.

— Пусть войдет! — прервав доклад, приказал Кавтарадзе.

В комнату вошел запыхавшийся и взмокший курьер и передал исполнявшему обязанности посла запечатанный пакет, в котором было донесение от Серго Орджоникидзе.

«Меньшевики взорвали Поилинский мост, — сообщалось в нем, — из-за чего приостановлено движение бронепоезда в сторону Тифлиса. В связи с этим полевой штаб Красной Армии проводит перегруппировку, устанавливается связь между отдельными подразделениями, комплектуются ударные группы. Немедленно организуйте помощь со стороны партизан и восставшего населения».

Кавтарадзе передал донесение московскому гостю и приказал Лебедеву в течение одного часа собрать армейское начальство, а секретарю поручил составить проект ответного письма на имя Орджоникидзе и Кирова. Курьеру он предложил отправиться в гостиницу и отдохнуть там до получения особых распоряжений. Когда все разошлись, в комнату вновь вошел секретарь и доложил Кавтарадзе:

— Приема просит сотрудник Кавказского музея.

— Сейчас нам не до музеев! — не сдержался посол.

— Я пытался объяснить, но он так настаивает...

— Пусть войдет, — устало отмахнулся Кавтарадзе.



В комнату вошел Отиа Гавашели и срывающимся от волнения голосом, не дожидаясь приглашения, начал говорить:

— Большевики вывезли все наше богатство, они ограбили церкви и музеи! Может быть, вы скажете, что и не слышали ничего об этом? Или вас это вообще не интересует?! — не помня себя выкрикивал Гавашели. — Вчера всю ночь укладывали ящики. А сейчас приехала грузовая машина, и все повезли в неизвестном направлении. Мы категорически требуем вернуть народу то, что по праву принадлежит ему!

Кавтарадзе и московский гость удивленно переглянулись.

Советник посольства сразу же стал звонить в министерство иностранных дел. Министра, Евгения Гегечкори, не было на месте. Секретарь ответил, что все министры находятся на совещании у Жордания, но что он может связать Кавтарадзе с заместителем министра Карцивадзе.

— Что вам известно о хищении музейных ценностей? — резко спросил Кавтарадзе, как только на проводе оказался заместитель министра.

— О хищении — ничего... А вывезены они по нашей санкции, — нарочито растягивая слова, ответил Карцивадзе. — Когда столице стала грозить опасность, государственное имущество и музейные ценности были отправлены в Кутаис, место относительно спокойное и безопасное.

— А если и в Кутаисе станет опасно?

— Все зависит от обстоятельств. Правительство не имеет права оставлять без присмотра музейное имущество и государственную казну, а пока власть в наших руках — это наша забота. Другого выхода нет, — сдержанно проговорил Карцивадзе.

— А вы знаете, что в русское посольство и раньше поступали сигналы о том, что этими сокровищами заинтересовались во Франции? — промолвил Кавтарадзе.

— Шевалье?

— Да, да, Абель Шевалье, которого вы считаете ангелом-хранителем вашего правительства, — язвительно бросил Кавтарадзе.

— Кроме благодарности, мы ничего не можем выразить правительству Франции. Ничего, кроме дружески протянутой руки и искренней помощи, ни мы, ни наш народ не видели.

— Франция, как представитель Антанты, прекрасно знает, что делает. Она заинтересована в грузинских сокровищах, которые вы сразу же преподнесли ее представителю. Адмирал Дюменин, который сейчас прохлаждается в Батуме, не зря приехал

вместе с Шевалье; его корабли и крейсера не от безделья стоят на рейде. Они, возможно, и будут покровительствовать вам в эту трудную минуту, но вы не имеете никакого юридического права передавать народное достояние в руки заграничного капитала.

— У наших сокровищ есть надежная охрана в лице профессора Эвтиме Такаишвили.

— Такаишвили добросовестный ученый, но ему нужна поддержка...

— Но мы и не собираемся бросить все на произвол... Мы скоро вернем власть, если вообще можно считать, что мы ее уступили кому-либо... — заместитель министра замолчал.

— Оптимизм — черта не предосудительная, но откуда, простите, такая уверенность?

— Наши организованность и единство — вот залог нашей уверенности. Мы не сомневаемся, что победим в этой неравной борьбе, зная еще, что сильнейшие армии Европы и Америки будут защищать наши интересы.

— Что касается меня, то ставлю вас в известность, что я сегодня же от имени нашего правительства представлю в министерство иностранных дел Грузии, его превосходительству Гегечкори, ноту с требованием немедленно возратить в тифлиссские церкви, монастыри и музеи их имущество! — прокричал в трубку Кавтарадзе.

— Воля ваша, — коротко ответил Карцивадзе.

Кончив разговор, Кавтарадзе сразу же поручил своему секретарю составить проект ноты министерству иностранных дел, а Отпа Гавашели посоветовал спокойно возвратиться к себе.

Секретарь вышел из комнаты и, не откладывая, взялся за выполнение поручения. Когда же он вернулся с текстом заявления, раздался телефонный звонок. Из тифлиссского представительства Армянской советской республики сообщали, что они остались без средств, и просили одолжить им на время определенную сумму.

До того как ознакомиться с текстом ноты, Кавтарадзе успел проконсультроваться у финансистов и, получив их согласие, сообщил о решении представительству Армении, попросив пригласить кого-нибудь из сотрудников.

— Дело в том, что наше представительство постоянно находится то под явным, то под скрытым наблюдением меньшевиков, и очень сомневаюсь, чтоб мы просто смогли до вас добраться, — ответили по телефону. — Единственный выход — если вам удастся переслать деньги с кем-нибудь, кто пользуется дипломатической неприкосновенностью.

— В данный момент таким лицом являюсь лишь я, но, к сожалению, у меня нет ни одной минуты свободного времени, растерялся Кавтарадзе.

— На автомобиле вы буквально за несколько минут доберетесь до нашей резиденции в Сололаки. Очень вас просим, как-нибудь помогите нам: положение у нас безвыходное..

Положение было действительно трудным. Кавтарадзе пришлось на время покинуть посольство и на своем черном мерседесе отправиться в представительство Армении. Но как только из ворот русского посольства выехала машина, сразу же вслед за ней двинулся мотоцикл с людьми. Не успел Кавтарадзе проехать и двух кварталов, как его остановил патруль—проверили документы. На следующем отрезке пути машину остановила одна из групп Особого отряда. Не удовлетворившись проверкой документов, они обыскали всю машину и, обнаружив крупную сумму денег, сразу же переправили Кавтарадзе в штаб Особого отряда. Начальник штаба Кедиа немедленно отобрал все деньги. Кавтарадзе пытался прогестовать, требовал возратить всю сумму. Но Кедиа в ответ отдал распоряжение срочно вывезти его под усиленным конвоем к железнодорожному вокзалу.

Ту ночь Кавтарадзе провел в одном из сырых вокзальных подвалов, а на другой день его переправили в Кутаис, в губернскую тюрьму.

Не прошло и двух часов после ареста Кавтарадзе, как в приемной посольства России поднялась суматоха. Как только представитель Москвы встал и сделал несколько шагов по направлению к двери, в комнату вошло четверо полицейских. Один из них, в чине полковника, вытянулся перед московским гостем, предъявил ордер на арест и заявил:

— По приказу генерал-губернатора Восточной Грузии и Тифлисского округа вы лично, а также ответственные сотрудники вашего посольства Юревич и Лебедев арестованы!

Возмущенный неожиданным нападением, москвич ухватился было за рукоять пистолета, но полицейские успели перехватить его руку и отобрать оружие. Потом они быстро справились и со всеми присутствовавшими, обыскали посла, перерыли всю комнату, опечатали помещение и повели арестованных к тюрьме.

Триумфальное шествие 11-й армии, временно приостановленное у Понлинского моста, было возобновлено. Пополнив свои ряды, в особенности ударные группы свежими силами, Красная Армия возобновила атаки на Коджори и Соганлуги. На подмогу основному ударному отряду подоспел и бронепоезд. 23 и 24

февраля в ожесточенных боях на главных высотах города Красной армии добились решающих успехов. Жордания срочно созвал особое заседание своего кабинета, заседании которого стоял единственный вопрос — эвакуация правительства.

Было решено, что правительство временно отправится сначала в Хашури, затем в Кутаис, попозже в Батум, а в случае, если и там будет угрожать опасность, — во Францию.

24 февраля, ночью, меньшевистское правительство распорядилось снять оборону Тифлиса и в сопровождении небольшой группы гвардейцев специальным поездом переправилось в Хашури, рассчитывая в случае осложнения ситуации на переезд в Кутаис.

25 февраля столица Грузии была занята войсками Красной Армии, а 26-го — революционный комитет издал за подписью Мамии Орахелашвили приказ о полном переходе власти в руки большевиков.

Позднее был опубликован декрет Ревкома о всеобщей демобилизации и расформировании армии и гвардии меньшевиков.

Бежавшее из Тифлиса меньшевистское правительство уже 25 февраля было в Кутаисе. Туда же съехались и все члены Учредительного собрания, в том числе и Эвктиме Такашвили. Сразу же по прибытии в Кутаис он вместе с Елигулашвили поторопился пойти в банк, где должны были находиться сокровища. Эвктиме Такашвили придирчиво осмотрел каждый ящик, Елигулашвили же занялся проверкой казны. Как раз когда они были заняты подготовкой своих дел, вошел министр финансов Коция Канделаки вместе с заведующим тифлисской казной Бекком. Директор кутаисского банка указал на несколько ящиков, стоящих в стороне, и сказал:

— Это из Гелатского монастыря. Назначенные митрополитом Назаром церковные служители перенесли их сюда несколько дней назад. Мы ждем вашего распоряжения.

— Вы еще ничего не отобрали?

— Да нет, не успели. На нас сразу столько дел навалилось.

Канделаки взглянул на Такашвили, занятого осмотром музейного имущества.

— Батоно Эвктиме, у нас нет выхода — снова придется вас беспокоить.

— В чем дело?

— Вы должны нам помочь разобраться с имуществом Гелатского монастыря — музейные экспонаты подготовить к перевоз-

ке, а церковное имущество по списку передать представителю духовенства.

Таканшвили, не мешкая, принялся за работу. Впереди его ожидало немало трудных дел. В кутаисском банке в тот момент находилась масса ценностей — казна, музейное и церковное имущество.

Хотя Эквтиме и помогали, несколько дней пришлось напряженно работать. Он перебрал и рассортировал все экспонаты, и когда 9 марта в здание банка вбежал Коция Канделаки, ценности уже укладывали в ящики и опечатавали.

— Я должен сообщить вам новости! — не переводя дыхания начал Канделаки. — Части 11-й армии перешли Мамисонский перевал и через Рачу двигаются по направлению к Кутаису. А отряд, вышедший из Тифлиса, уже прошел туннель Ципи. Так что не удивительно, если через несколько дней красные будут в Кутаисе. Приказано завтра же оставить Кутаис и двигаться к Батуму. А казну и музейные ценности сегодня же ночью следует перевезти к вокзалу, чтобы иметь возможность выехать на рассвете!

— Не означает ли это все начало эмиграции? — тихо спросил Таканшвили. Сидя на одном из ящиков, он осторожно и любовно смахивал пыль с листа древней рукописи, которую держал в руках.

-- Не исключено, ибо, судя по всему, мы проиграли.


-- Если проиграли, — в раздумье продолжал Эквтиме, — куда же мы все это забираем? Лучше народа за народным добром никто не присмотрит.

— Да, конечно, но другого выхода у нас нет и быть не может, — резко оборвал Канделаки. — Вы представляете себе, что произойдет, если меньшевистское правительство угодит в руки красных?

— Пусть правительство и уезжает, а при чем же здесь сокровищница, она могла бы остаться здесь, в помещении банка, — в недоумении добавил Таканшвили.

— Вы так говорите, будто ничего общего не имеете с меньшевистским правительством! — вскричал возмущенно Канделаки. — Зачем же вы ехали в Кутаис? Оставались бы в Тифлисе — там сейчас развеивается знамя Советов!

— Я археолог, и меня в Кутаис привела отнюдь не любовь к большевикам или меньшевикам. Я сторожу народное добро, то, что принадлежит моей родине. — с болью в голосе произнес профессор.



— Вот именно! Эти сокровища и нуждаются больше всего в присмотре. И всем ясно, что никто, кроме вас, не сможет справиться с этой задачей.

— Я не вполне уверен, что мы сможем до конца сохранить сокровищницу, и поэтому лучше не трогать ее с места, — глухо проговорил Такашвили.

— Эвакуация сокровищницы предусмотрена постановлением Учредительного собрания, членами которого являемся мы оба, — жестко оборвал его Канделаки. — Единлично решать никто из нас не вправе. Короче, нравится вам или не нравится это постановление, вы обязаны выполнить приказ! Завтра же утром казна и сокровищница отправятся в Батум!

...В труднейших условиях части 11-й армии переходили Мамисонский перевал. Снежный покров на перевале достигал трех метров. Но 98-я конная бригада 33-й стрелковой дивизии шла на помощь восставшим рабочим и крестьянам.

Переход через Кавказский хребет был хорошо продуман и подготовлен. Была создана специальная военная группа, состоявшая из четырех легионов 98-й бригады 33-й стрелковой дивизии 11-й армии и партизанских отрядов Рача-Лечхуми и Южной Осетии. Эта военная группа обязана была осуществить переход через Кавказ со стороны Рача-Лечхуми, нанести неожиданный удар с тыла по расположенным в Кутаисе частям меньшевистской армии и таким образом заставить меньшевистское правительство прекратить сопротивление и капитулировать.

Отправлявшиеся на Мамисонский перевал военные части и партизанские отряды комплектовались военачальником Терского округа Смирновым совместно с командующим 33-й дивизией Мусельниковым.

В Клухори собрался партийный актив районов, расположенных недалеко от Мамисонского перевала. Заранее были осмотрены все дороги, которыми должны были идти военные части и партизанские отряды.

18 февраля конная бригада вошла в район Алагира, здесь к ней присоединились партизаны и красноармейцы. Это был последний пункт, где бригада получила пополнение и была снабжена боеприпасами.

24 февраля начался переход через Мамисонский перевал. Расчистка дорог, налаживание связи, доставка продуктов, расквартировка войск — все усложнилось бы вдвойне, если б не помощь местного населения.

26 февраля, в снег и мороз, 98-я бригада вместе с партизанами перешла Мамисонский перевал и разбила лагерь в долине Глола. Местное население встречало их с радостью. Тут же был организован Ревком, который объявил Советскую власть в деревнях и селах Верхней Рачи.

Взятием Мамисонского перевала бойцы Красной армии помогли трудящимся Рача-Лечхуми установить Советскую власть и начали наступательный марш на Кутаис, где укрывалось покинувшее столицу меньшевистское правительство. Таким образом, меньшевики были вынуждены покинуть и Кутаис. Незадолго до отъезда они переправили из кутаисской губернской тюрьмы в Батум большую группу коммунистов в составе трехсот человек. В эту группу входили и прежние руководители российского посольства Серго Кавтарадзе и Шейнман.

Бывшие сановные заправила — начальник тифлисской полиции Владимир Сулаквелидзе, председатель судейской коллегии Платон Пачулиа, комендант Тифлиса, а затем заместитель министра внутренних дел Вениамин Чхиквишвили совместно с отрядами Кедиа жестоко мучили тех, кто не соглашался ехать в Батум. Их жертвами стали профессиональные революционеры Павел Мардалейшвили и Николай Иванов. Они сдружились еще в восемнадцатом году, работая вместе в одной из ударных большевистских групп. При эвакуации меньшевистского правительства они были переведены по этапу из метехской тюрьмы в кутаисскую и здесь оказались в одной камере. Когда заключенных собрались перевозить в Батум, Мардалейшвили заявил полицейским из охраны:

— Я никуда выезжать не собираюсь! Вы хотите, как воры, ускользнуть за границу, а нас швырнуть на растерзание турецким головорезам. Но знайте, этот номер у вас не пройдет!

— Тебя-то уж наверняка здесь же посадят на кол и подожгут, — услышал он в ответ.

— Трусые вы и попрощайки, продажные твари! Родину за копейку продаете! — собрал последние силы Мардалейшвили, когда полицейские надевали ему кандалы.

— Прочь отсюда, собачьи отродья! — взревел Иванов и ударил полицейского ногой в живот.

Полицейский застонал, но удержался и изо всех сил ударил его прикладом ружья по обритой голове. Иванов замертво упал на каменные плиты.

— Ты еще смеешь поднимать руку на безоружного! — кричал Мардалейшвили и плюнул в лицо озверевшему полицейскому.

Не раздумывая, полицейский штыком пронзил Мардалишвили. Руководитель Особого отряда министерства внутренних дел Кедиа срочно распорядился как можно скорее вывезти из леса и сжечь, что начальники полиции Валериан Пичхаиа и Сиблибистро Магнарадзе не замедлили выполнить.

Избежавших смерти заключенных вывели из губернской тюрьмы и перевезли на железнодорожный вокзал. В этой группе оказался и Серго Кавтарадзе. Всего за несколько дней до эвакуации у него в камере появился представитель военного штаба меньшевиков Чумбуридзе и сообщил:

— Вы арестованы по распоряжению Фронта, а Front настоятельно требует отдать вас под суд. Если вы чистосердечно не признаете себя виновным, вас расстреляют без суда!

— Я ни в чем не виновен, — ответил Кавтарадзе, — кроме того, что сочувствую рабочему классу и крестьянству и сострадаю голодным. Что касается расстрела, то если вы приведете это решение в исполнение, я думаю, что мои друзья в Москве отнюдь не поглядят по головке меньшевистского представителя Герасиме Махарадзе!

Чумбуридзе угрожающе качнул головой и удалился. В результате этого инцидента Кавтарадзе перевели в отдельную, очень холодную камеру и назначили специальную охрану. Военный штаб не успел осуществить задуманное, и Кавтарадзе с сотнями других заключенных специальным поездом направили в Батум.

Батумская тюрьма оказалась слишком маленькой, и часть заключенных распределили по фортам, откуда в первую же ночь начались побег. В городе не было электричества, топлива, продуктов, на улицах гнил мусор. Волна беженцев из разных концов Грузии устремилась в Батум. Рейд был заполнен иностранными судами и крейсерами.

Кавтарадзе не имел права выходить из камеры. От товарищей он узнал, что его спрашивал некто Тер-Габриелян, который выдавал себя за большевика.

Кавтарадзе действительно знал его. Он был послан из Москвы в Тифлис Комиссариатом иностранных дел, особо распорядившимся проявлять о нем заботу и создать все условия для отдыха. Представители посольства поместили его в лучший номер гостиницы «Ориант». Но выяснилось, что Тер-Габриелян был шпионом, агентом английской разведки, непосредственно связанным с американским послом полковником Смиттом, и приехал он в Тифлис вовсе не для восстановления здоровья, а просто был переведен разведкой на новый участок с особым заданием.

Обо всем этом Кавтарадзе и его друзья узнали позднее, и поймать Тер-Габриеляна не удалось. Теперь же Кавтарадзе пожелал встречаться с этой темной личностью.

В тюрьме нарастали волнения. Со всех сторон поползли слухи: кто говорил, что большую часть всех заключенных перевезут в Стамбул, а попавших в тюрьму большевистских руководителей вывезут на баржах в море и там казнят; кто утверждал, что все заключенные будут преданы полевому суду. По ночам со стороны моря то и дело доносились выстрелы...

Эквтиме Такаишвили направлялся в Батум. Ему не давала покоя пропажа одного из ящиков. «Как это могло произойти? Кто мог, находясь в банке, совершить такую неслыханную подлость? — думал Эквтиме. — И вообще, оправдан ли чем-нибудь мой переезд, если я на каждой станции буду терять по ящику?»...

Жена и близкие пытались успокоить старика, но тщетно. Он и слушать их не желал. Его большие, полные тревоги глаза смотрели на знакомые с детства отроги гор, гурийские поля, речки. Где-то далеко, за заснеженными вершинами, виделось ему родное село Лихаури. На мгновение Эквтиме забылся.

— Должно быть, вы слышали про Ачисцкали, — через некоторое время спросил Эквтиме у Елигулашвили.

— Да, как же, слышал.

— А доводилось ли вам пробовать тамошнюю форель?

— Нет, не пришлось.

— Спросите у моей супруги, она вам расскажет, что за вкус у этой форели, — сказал Эквтиме и улыбнулся жене, грустно глядевшей на затопленные горы.

— В последнее время мы совсем позабыли и Ачисцкали и Лихаури, — ответила жена.

— А прежде хоть раз в году мы туда непременно навещались. Удастся ли когда-нибудь еще увидеть свой родной дом?

— А близкие или родственники у вас есть?

— Только дальние родственники — я рано осиротел... Я был совсем маленьким, когда умер отец, один из прославленных офицеров русской армии, охранявший границу Чолоки. Хозяйство, дети... вся тяжесть легла на плечи моей матери, урожденной Накашидзе. Овдовев в юности, она все свои силы отдавала семье и детям. Особенно она заботилась обо мне — я был младшим. Мне часто потом говорили, посмеиваясь, что если бы мать была жива, я остался бы неучем — любя, она не спускала с меня глаз и ни на шаг не отпускала от себя. Мать скончалась, когда мне было около пяти. Я как сейчас помню ту сырую и холодную

осеннюю ночь, когда кто-то разбудил меня, отташил от матери и усадил перед зажженным камином. Плакали женщины. Иногда какая-нибудь из них с распущенными волосами, с заплаканным лицом вбегала в комнату и начинала причитать: «Ой, несчастные, нет у вас больше мамы, остались вы сиротами, что с вами будет!..»

Была у нас собака по кличке «Вардиа» — она сидела рядом с нами у камина. Если мы вставали и выходили на балкон, она поднималась и шла за нами, когда возвращались в комнату, возвращалась и она...

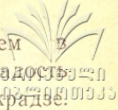
Когда я чуть-чуть успокоился, бабушка приласкала меня, отвела к себе домой и уложила в постель. С тех пор я жил у бабушки. Бабушка, урожденная Шарашидзе из Саджавахо, была уже очень стара, но на редкость заботлива и внимательна ко мне.

Мне еще не было и трех, когда я упал с моста и сломал ногу. Вовремя начать лечение не удалось, и хромота осталась на всю жизнь. Когда я сердил чем-нибудь своих сверстников, они начинали меня дразнить. Часто я увязывался со взрослыми на рыбалку. В реке Ачисцкали хорошо ловилась форель... Семи лет меня зачислили в сельскую школу в Озургети. Этот день был праздничным, особым в моей жизни. Тетка мне сшила архалук, шелковую чоху, купила обувь.

В школе в то время учительствовал Симон Кикодзе, брат епископа Габриэла, который преподавал нам закон божий. Я сейчас помню выпущенный под руководством Кириле Лордкипанидзе прекрасный сборник «Чонгури», по которому Симон Кикодзе учил нас и читал стихи классиков грузинской литературы — Ильи, Акакия, Важа Пшавела. Большой след в моей памяти оставил прекрасный педагог Иосиф Такаишвили.

Именно в озургетской школе, в детстве, сблизилась мы с Нико Марром. Потом мы вместе учились в кутаисской гимназии, и так получилось, что одновременно прониклись национально-освободительными идеями.

Ну а потом был Петербургский университет... Лекции известных ученых Ламанского, Василевского и Веселовского. Здесь же я познакомился с Важа Пшавела, вольнослушателем университета. Я часто его встречал и на собраниях студентов-грузин. Важа Пшавела знал наизусть почти всю пшавско-хевсурскую поэзию, не говоря уже о собственных стихах. Близость с ним всегда создавала ощущение глубокого морального и духовного удовлетворения. Там же, в университете, я получил звание кандидата исторических наук и решил вернуться в Грузию.



По возвращении на родину мне пришлось быть и учителем в школе, и читать лекции в университете. Необычайную радость принесло мне знакомство с профессором Дмитрием Бакрадзе. Именно под его руководством я начал собирать и публиковать материалы о грузинских древностях, хранившихся в грузинских церквях и монастырях. Поначалу вместе с Дмитрием Бакрадзе и Тедо Жордания, а потом и один, я на протяжении нескольких десятков лет трудился над сбором этого материала и перевозкой его в Тифлис.

Надеюсь, вы поймете мое состояние, когда всем этим бесценным сокровищам, собиравшимся буквально по капле, стала угрожать опасность. Не стану скрывать, но я доволен хотя бы тем, что физически нахожусь рядом с этими экспонатами. Вместе с ними я готов и в ад отправиться, — горько усмехнулся Такашвили и с болью и гневом в голосе продолжил: — А какое-то ничтожество посмело украсть у нас драгоценные экспонаты! Нет, с этим никак нельзя мириться! Надо найти вора!

В купе воцарилось молчание.

Наконец-то добрались до Батума. Четыре дня жили в вагоне и выгружали ящики с экспонатами. Лишь только на пятый день выдалась возможность перенести груз на военный крейсер «Эрнест Ренан». Ни Такашвили, ни Елигулашвили не были пущены на крейсер, так как, по словам капитана, корабль проводил военные операции в бассейне Черного моря и присутствие на нем гражданских лиц было категорически запрещено.

Такашвили сразу же обратился к Жордания, а тот в свою очередь к Шевалье. Шевалье пообещал во что бы то ни стало перед выходом в Константинополь устроить хранителей сокровищницы на корабль.

Эквтите Такашвили и Иосиф Елигулашвили, обнадеженные, вернулись в гостиницу. За все это время им впервые представилась возможность хоть немного отдохнуть.

Что же происходило в это время в Тифлисе? 24 февраля, когда меньшевистское правительство бежало из города, отряды Красной армии еще не появились. Город остался без правительства. Представитель левого крыла национал-федералистов Леван Метревели, поэт Паоло Яшвили и большевик Георгий Вашадзе составили комитет по поддержанию порядка. Члены этого комитета вместе с трудящимися первыми приветствовали триумфальным маршем вошедшую в Тифлис Красную Армию и отряды восставших. Над городом взвился Красный флаг Советской власти. Эту

радостную весть Серго Орджоникидзе в тот же вечер передал в Москву.

Не оправдали себя и предсказания меньшевиков о том, то бы большевистская армия — армия голодных, раздетых варваров. Человечность нового, большевистского правительства проявилась в первом же декрете Ревкома Грузии — декрете об амнистии, изданном в первый же день после установления Советской власти и подписанном Мамией Орахелашвили.

«Революционное правительство Грузинской Советской Социалистической Республики, — говорилось в декрете, — лишённое какого-либо желанья мстить своим политическим противникам, противникам, которые в течение чуть ли не трех лет пресекали любые попытки трудящихся установить Советскую власть, противникам, которые использовали все возможности буржуазного государственного аппарата для преследования рабочих и крестьян, — постановляет: объявить амнистию для всех политических партий, группировок и отдельных лиц, которые активно выступали против Коммунистической партии большевиков и Советской власти.

Декрет входит в силу со дня его опубликования»...

Укрывшееся в Западной Грузии меньшевистское правительство скрыло от народа этот декрет. И поскольку меньшевики не складывали оружия, а продолжали яростно биться с войсками большевиков, Ревком Грузии вынужден был обратиться к трудящимся с призывом:

«Борьба со сверженным, но не подчинившимся нам правительством должна быть продолжена с неослабной энергией». И действительно, в борьбе за полную ликвидацию меньшевистского правительства трудящиеся поддержали Ревком и Красную Армию.

К большевикам присоединилось и левое крыло партии социал-федералистов, а также временный главный комитет этой партии.

Объединенными усилиями Ревкома и временного главного комитета работа в республике была поставлена на советские рельсы, налаживались связи с Советской Россией. Была создана также особая делегация, направленная в срочном порядке в Батум, чтобы объявить испуганным и готовым с минуты на минуту бежать в Константинополь меньшевикам об амнистии и вернуть их обратно.

2 марта делегация выехала из Тифлиса.

Железнодорожная связь между Восточной и Западной Грузией была нарушена: взорваны мосты, дороги взрыхлены бом-

бами, а тут еще мартовская слякоть и непогода, разгромленные деревни и села...

Почти две недели делегация добиралась из Тифлиса в Батум. К месту назначения они прибыли только 14 марта.

В темноте мокрых батумских улиц, не разбирая дороги, бродили изголодавшиеся толпы беженцев. Гавань кишела грузинскими и иностранными судами, военными крейсерами, торпедными лодками и катерами.

Приехавшие из Турции по разрешению меньшевистского правительства и им же пригетые приверженцы Кемалья ни во что не ставили и без того измученное местное население. По городу смело разгуливал генерал Кязым-бей со своими адъютантами, мечтая о том дне, когда Аджаристан подчинится его диктатуре. Между турками-аскерами и большевистски настроенными отрядами периодически происходили вооруженные столкновения. Глупая, бессмысленная смерть уносила молодые жизни...

Эквтиме Таканшвили приходил в ужас от одной мысли о том, что сокровищница может попасть в руки турок. Так что весть о прибытии из Тифлиса делегации большевиков обрадовала его — наконец-то появилась хоть маленькая надежда, что Жордания и его сообщники передумают и, пока не поздно, вернут сокровища в Тифлис.

Таканшвили хорошо знал и Глonti, и Кикодзе. Он знал и о том, что они в свое время были против вывоза сокровищницы из Тифлиса. Обдумав все, Эквтиме решил предложить делегатам переговорить с правительством Жордания о возвращении богатств в столицу, но когда он сообщил о своем решении Елигулашвили, тот категорически воспротивился.

— Во-первых, — возразил Елигулашвили, — делегация прибыла сюда с другой целью, и если они затронут вопрос возвращения богатств, все сразу же догадаются, что и мы в этом замешаны. А это в свою очередь вызовет недовольство в правительстве и нас могут отстранить от обязанности хранителей. И тогда уж действительно придется распрощаться с сокровищницей. Не исключено, что для грузинского народа она погибнет навсегда!

Доводы Елигулашвили показались Таканшвили убедительными, и он при встрече с делегатами даже не упомянул о сокровищнице.

Делегаты встретились с Жордания и членами его правительства в салоне поезда. Совместно были разработаны отдельные мероприятия по возвращению беженцев.

Когда Глonti и Кикодзе высказали удивление по поводу присутствия в городе большого количества войск Кемалья, Жордания порывлся в портфеле и протянул им лист бумаги. Это была радиограмма Ревкома Грузии, посланная 8 марта:

«Теперь, когда войска Революционного комитета Грузии перешли Сурамский хребет, Мамисонский перевал и границы Самурзакано и приблизились к Кутаису — вашему последнему пристанищу, вам должно быть ясно, что вы проиграли. Продолжать войну бессмысленно!.. Мы предлагаем сразу же прекратить военные действия!..»

Дочитав радиограмму, Глonti взглянул на Жордания. Тот стоял у окна вагона и печально смотрел на взьерошенный мартовскими неурядицами город. Все молчали... Тишину первым нарушил Жордания:

— У нас не было выбора — на силу надо было отвечать силой. Теперь же, когда нас приперли к стенке, возможно действительно наступило время для переговоров и прекращения военных действий... — голос Жордания звучал глухо. — Посмотрим, что уготовит нам завтрашний день...

В последующие дни события развивались стремительно. До Тифлиса доходили известия о захватнических планах Турции, о двойственной, а иногда явно иродажной, политике меньшевиков. Филипп Махарадзе, Мамия Орахелашвили и другие представители нового грузинского правительства предостерегали Жордания о последствиях, которые могли быть вызваны передачей Батума Турции.

16 марта, начиная с 12 часов ночи и вплоть до 8 часов утра, по прямому проводу шли переговоры между Батумом и Тифлисом. На линии были заместитель Жордания Григол Лордкипанидзе и член Ревкома Грузии Мамия Орахелашвили.

Незадолго до начала переговоров в прессе был опубликован официальный протест большевистского правительства. В нем говорилось: «Грузинский порт Батум превратился в предмет не только подлых интриг, но и прямых захватнических планов... Тот, кто посмеет посягнуть на город, получит достойный отпор...»

Теперь же Орахелашвили спрашивал у Лордкипанидзе:

— Достоверны ли заявления Кара-Бекира о том, что ваше правительство передало Батум его войскам?

— Нет, ничего подобного не происходило, — ответил Лордкипанидзе. — Правда, в городе находится небольшая группа ангорской армии, но она не представляет опасности.

— Ну, а вы согласны, — снова последовал вопрос, — провести переговоры между представителями наших правительств?



- Ничего не имею против.
- Если эта встреча произойдет в Кутаисе?
- Пожалуйста, только когда?
- Как можно быстрее, хоть завтра.

И действительно, уже в середине марта Мамия Орахелашвили и Григол Лордкипанидзе встретились в Кутаисе. Председательствовал на встрече представитель Советской России Абель Енукидзе. Они договорились о немедленном прекращении военных действий. В договоре было сказано, что меньшевистское правительство ликвидирует фронт, открытый против большевиков, освобождает ту часть территории Грузии, которую он занимает, и создает условия для беспрепятственного введения в Батумский округ военных подразделений Ревкома.

В батумской тюрьме, в которую поместили большевиков, началась паника. Заключенные ждали расстрела. Слух фиксировал каждый звук: шаги охранника в коридоре, скрежет замка. Дни проходили относительно спокойно, а ночью начинались бессонница и кошмары — со стороны моря по-прежнему доносились звуки выстрелов.

В одну из таких ночей, 16 марта, в канцелярию тюрьмы были вызваны Серго Кавтарадзе, Малакиа Торошелидзе и Карпе Модебадзе. Модебадзе болел и не мог подняться с постели, а Кавтарадзе и Торошелидзе направились в канцелярию. В контроле начальника тюрьмы их встретил бывший военный министр меньшевиков, особый поверенный Батумского округа, генерал-губернатор Григол Георгадзе.

— Ты, как я вижу, ремесло палача предпочел профессии юриста, — мимоходом бросил Кавтарадзе. — Для чего полагалось ночью выводить нас из камеры?

— Ноэ Николаевич хочет поговорить с вами, — ответил Георгадзе.

— Знай, если это провокация и вы собираетесь вести нас на расстрел, вам это так просто с рук не сойдет... Товарищи вам отомстят! — тихо, но с напором произнес Кавтарадзе, а Торошелидзе кивком головы подтвердил его слова.

— Клянусь своими детьми, я говорю правду — Жордания действительно поручил мне вызвать вас, — повторил Георгадзе.

Кавтарадзе и Торошелидзе посадили в автомобиль и повезли по темным улицам. После долгой тряски по бездорожью их привезли на площадь, где стоял пульман. В вагоне на кожаном диване сидел Жордания. Рядом стояли некоторые члены

его правительства и штаба народной гвардии — Гегечкори, Лордкипанидзе, Джугели, Дгебуадзе. Жордания предложил вновь прибывшим сесть.

— Я вас вызвал для того, чтобы договориться перед тем, как мы покинем Грузию, — устало начал разговор Жордания. — Мы не выдержим натиска восставшего народа и Красной Армии и на рассвете перейдем на крейсер, поджидающий нас на рейде. Я обращаюсь к вам как к ответственным партийным работникам... Примите, пожалуйста, меры, чтобы ваша армия не разорила народ и страну.

— Вы уверены, что войска направляются сюда именно с этой целью? — спросил Кавтарадзе.

— Ну конечно же, нет. Но война есть война, кто бы ни вел ее. Она не подчиняется законам и порядку. Она всегда — насилие и поэтому приносит несчастье народу и стране. Мы решили, что Батум надо сохранить для Грузии, каким бы он ни был — большевистским или меньшевистским. Существует реальная опасность захвата города. Патруль кемалистов разгуливает по улицам, — вы и сами это увидите... Но пока еще не поздно, пока можно что-то предпринять... Если советские войска в ближайшее время войдут в город... Мы знаем, — помолчав, продолжил Жордания, — мы знаем, что Москва и Анкара заключили между собой договор, подписанный Миха Цхакая, согласно которому Батум должен остаться в руках Советской Грузии. Мы считаем, что кемалисты не посмеют выступить против Красной Армии. Так что мы заинтересованы в том, чтобы войска как можно скорее пришли сюда. Для этого необходимо, чтобы Серго Кавтарадзе отправился в качестве парламентаря к войскам, идущим сюда, сообщил им о создавшемся здесь положении и ускорил их продвижение. Мы, в свою очередь, отдадим приказ, чтобы советские отряды беспрепятственно подошли к городу. В направлении Ланчути нами уже высланы порожние вагоны. Нам известно, что войска приближаются к Батуму со стороны Кеда, но они могут задержаться из-за бездорожья. Кроме того, в этом районе, как выяснилось, действуют отряды кемалистов. Мы ничего не знали об этом. Первое сообщение было от Геккера, который выяснял у нас по прямому проводу — чьи это войска? Как видно, советская контрразведка работает лучше нашей. Количество кемалистов в городе не превышает пяти тысяч человек. Но они могут укрепиться, если мы их не опередем...

Хотя Кавтарадзе и Торошелидзе вместе с сотнями других большевиков уже долгое время томились в тюрьме, они прекрасно знали, что кемалисты зашли в Батум отнюдь не самовольно

но, что они были приглашены самим Жордания и его правительством для борьбы с большевиками. Но когда генерал Кязым-бей пренебрег замыслами меньшевиков и, воспользовавшись удобным моментом, начал осуществлять давно задуманный план захвата Батума, «отец грузинской нации» не на шутку разгневался.

Кроме всего прочего, Жордания сказал: «Красная Армия спасет Батум». Но он не добавил, что для спасения Батума необходимо в самом городе установить Советскую власть. Получалось так, что до появления войск хозяевами будут оставаться меньшевики, а выпущенные на волю Кавтарадзе и Торошелидзе, хоть и получат возможность выйти из города, будут играть роль агитаторов и парламентариев.

Обессиленные и измученные Кавтарадзе и Торошелидзе прекрасно все понимали, но предпочли не спорить.

Жордания коснулся в беседе и других злободневных вопросов, а под конец заметил:

— Мы договорились уже с Тифлисом об эвакуации задержанных нами большевиков. Серго назначен особым поверенным Советского правительства, и ему официально поручено произвести эвакуацию. Хотя дороги очень перегружены, но, возможно, завтра к вечеру удастся подготовить несколько вагонов.

— Хочу обратить ваше внимание на кое-какие вопросы, продолжал он. — В Батум прибыло множество беженцев из различных районов Грузии. Они очень напуганы и хотят бежать в Константинополь... Вы должны успокоить этих людей и убедить, что если они останутся здесь, никакая опасность им угрожать не будет. Мы умоляли их остаться, но нам они уже не верят. Кто же останется с вами, если они уйдут? Вы должны убедить их вернуться. Собственно говоря, почва для этого уже подготовлена. Из Тифлиса прибыла комиссия под руководством Глonti, который агитировал за большевиков, говорил, что большевики не совершают ничего ужасного... До сих пор не было никаких эксцессов. Кроме того, Советским правительством объявлена амнистия, и это, конечно, вам поможет. Я бы и сам остался... Но нельзя, чтобы на одной земле существовали два правительства, и поэтому я вынужден уйти, — после некоторой паузы добавил Жордания.

Наконец Торошелидзе не выдержал и сказал:

— Трудно за один или два дня убедить народ в том, что большевики хорошие, тогда как в течение чуть ли не трех лет меньшевики только и делали, что ругали их.

— Годами сеяли отраву — вот уже и плоды появились, отозвался Кавтарадзе.

Жордания сидел на диване не шелохнувшись, полуоткрытыми глазами. Воцарилось долгое молчание.

Тишину, воспользовавшись моментом, нарушил Джугели и, пронизывая, обратился к Кавтарадзе:

— А не припоминаете ли вы банкет в помещении посольства Советской России, который в честь нашей народной гвардии устроил Шейнман? Ну, а через две недели начал войну?

Жордания счел неуместной эту «шутку» Джугели и, чтобы снять напряжение, с грустью произнес:

— Возможно, мы видимся и разговариваем друг с другом в последний раз... — он помедлил и перевел разговор на события в Кронштадте: — Там, насколько мне известно, дела большевиков не так уж хороши. Троцкого нигде не видно, хотя никаких подтверждений тому, что его взяли в плен, тоже нет. А военным приказам явно недостает обычных для большевиков напористых интонаций. Судя по сообщениям, восставшие уже проникли в Московскую губернию. Ну, а если черная реакция победит, — полшутя добавил Жордания, — Грузию вновь придется передать нам.

— Если победит черная реакция, то нам придется распрощаться и с мечтой о Грузии. — Кавтарадзе говорил так решительно, что тему эту больше не затрагивали.

После небольшой паузы Жордания произнес:

— Собственно, это все, о чем я собирался поговорить с вами. Тут же перед Жордания вытянулся Георгадзе и спросил:

— Куда прикажете их отвести?

— Пока туда, где они были. Завтра же этот вагон будет в их распоряжении.

Кавтарадзе и Торшелидзе вновь вернулись в тюрьму. Там никто не спал. Они сообщили заключенным радостную весть: завтра все будут на свободе.

Ранним утром бывшее руководство меньшевистского правительства погрузилось на корабль итальянской фирмы «Ферен-Жозеф-Мерилли» и бежало во Францию...

Военный крейсер «Эрнест Ренан» с грузинской сокровищницей на борту, согласно обещанию Шевалье, должен был отойти несколько позже. По договоренности с экипажем крейсера Эвктиме Такашвили и Иосифа Елигулашвили должны были взять с собой, но их сбманули.

Такаишвили и Елигулашвили появились у рейда на час раньше условленного. Но крейсер уже давно отошел — на горизонте едва виднелась маленькая черная точка.

Возмущению Эквтиме Такаишвили и сопровождавших его не было предела. Они тщетно пытались что-то доказать руководству порта, долго попусту спорили.

Наконец им удалось нанять частный корабль, чтобы догнать крейсер с сокровищницей. Они взяли курс на Константинополь.

В Батуме царил хаос. Основная часть вооруженных сил Турции находилась в городе. Расклеенные по улицам объявления оповещали, что все расследуемые и прочие дела переходят в юрисдикцию турецкого суда. По мостовым свободно разгуливали пикеты аскеров. Их число росло изо дня в день. В городе свирепствовали голод и антисанитария.

У выпущенных из тюрьмы большевиков было много дел: меньшевики бежали за границу, а Красная Армия еще не подошла. В городе надо было установить элементарный порядок, выгнать турок, наладить связь с Тифлисом.

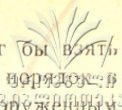
Большевики сразу же заняли дом бывшего меньшевистского генерал-губернатора Григола Георгадзе, где и расположился вновь созданный Ревком города Батума и Батумского округа под руководством Серго Кавтарадзе. Заместителем председателя был назначен Мамия Торшелидзе. Позже от аджарских большевиков в состав Ревкома были введены левые социал-федералисты Мемед Абашидзе и Реджеб Нижарадзе.

В городе то и дело раздавались выстрелы. Из расположенной в фортах меньшевистской армии началось дезертирство.

Агитаторы-большевики убеждали части меньшевистской гвардии в необходимости объединенных выступлений против турок. Турки же настолько осмелели, что вывесили в центре города приказ об оккупации Батума, Ахалкалаки и Ахалциха. Приказ, который подписывал Кязым-бей, гласил:

«По соглашению с грузинским правительством наши войска оккупировали Батумский, Ахалкалакский и Ахалцихский округа... Указанные округа с этого дня возвращаются родине и передаются в подчинение правительства Турции».

Как только Кавтарадзе узнал об этом приказе Кязым-бея, он сразу же понял, какая борьба предстоит солдатам Ревкома. Многие из них были простыми крестьянами — они приехали из Имеретии, Гурии, Мингрелии. Теперь же им в первую очередь надо было защитить и не уступить врагу вагоны с награбленным народным добром, брошенные меньшевиками.



Необходимо было подыскать человека, который смог бы взять на себя руководство деморализованной армией, навести порядок в ее рядах, оказать достойное сопротивление прекрасно вооруженным войскам Кязым-бея, продержаться до прихода Красной Армии и сохранить в Батуме Советскую власть.

Офицеры доложили Кавтарадзе: руководство армией лучше всего поручить генералу Мазниашвили. В настоящее время он находится на борту какой-то фелюги и вместе с семьей собирается бежать за границу.

Кавтарадзе тут же отдал приказ задержать генерала и немедленно доставить его в Ревком. Ровно через полчаса генерала привели — он оказался низкорослым, коренастым пожилым человеком.

Вначале Мазниашвили отказывался остаться в Батуме, а тем более руководить армией, но под угрозой казни ему пришлось согласиться, и он быстро принялся за выполнение задания. К нему был приставлен комиссар Тенгиз Жгенти.

Генерал Мазниашвили потребовал отдельное помещение, адъютантов, машину, лошадей, агитаторов и карту города, что сразу же было ему предоставлено.

Где-то застрочил пулемет. Оказывается, мародеры Аслан-бека напали на склады таможни. Туда срочно направили отряд пулеметчиков, и бандитов вскоре отогнали.

В первую очередь Мазниашвили объединил разрозненные части, а после этого уже напал на турок. Через несколько дней начались решающие бои. И офицеры и солдаты были в боевом настроении.

На улице видели турецкого консула Фархеддина Хаира. Он, одетый в полувоенную форму, куда-то торопился. На ногах у него были кожаные краги, на голове — папаха, а у пояса болтался огромный кинжал — в таком виде он совершенно не был похож на дипломатического представителя.

На следующее утро по городу прошла кавалерия Жлобы. Лошади двигались с трудом. На лицах всадников застыла усталость.

Штаб турецкой армии с Кязым-беем во главе все еще оставался в помещении гостиницы «Франция». Из окна на улицу злоюще выглядывал пулемет. Турецкий караул в составе пяти аскеров заградил и на телеграфе. Использовать против них оружие было невозможно. Это тут же повлекло бы за собой выход из строя аппаратуры. Коммунисты пошли на хитроумную уловку — приставили к стене лестницу и подбросили изголодавшимся аскерам несколько буханок хлеба, объяснив им, что большинство турок бежало, а остальные сдали оружие, а поэтому сопротивляться бесполезно. «Обезоруженные» хлебными буханками аскеры сдались.

Генералу Кязым-бею было предложено немедленно покинуть город. Сразу же по приезде в Турцию он из-за провала в Батуме был понижен в должности.

Через несколько дней после того, как движение на дорогах было восстановлено, по рионскому мосту через Саджавахс к Батуму прошли регулярные части Красной Армии...

Итальянский корабль «Ферен-Жозеф-Мерилли», на котором Ноэ Жордания направлялся в Париж, временно остановился в Стамбуле. На палубу поднялся посол Польши и тепло приветствовал грузинских беженцев.

— Мне поручено заявить, — сказал посол, — что правительство грузинской демократической республики всегда будет в Польше желанным гостем. И если мы сумеем договориться, я сообщу по телефону его превосходительству маршалу Иозефу Пилсудскому о вашем решении, и вам будет открыт путь к Варшаве. Сразу же хочу поставить вас в известность, — продолжал посол, — что все военные лица сохранят за собой свои чины и звания. Еще раз прошу вас приехать к нам в Польшу.

Жордания явно льстило такое изысканно-вежливое приглашение, но его удерживала от согласия договоренность с премьер-министром Франции Брианом. Кроме того, именно Париж представлялся ему ареной его будущей политической деятельности и удобным стратегическим пунктом, да и сердце его устремлялось туда больше, чем куда-либо.

— Примите от меня лично и от сопровождающих меня лиц, — обратился к послу Жордания, — нашу глубокую благодарность за теплую встречу и сочувствие. Моя нижайшая просьба к вам передать также его превосходительству, главе польского правительства маршалу Иозефу Пилсудскому искреннюю благодарность за гостеприимство, за протянутую в трудную для нас минуту дружескую руку. Но, к величайшему сожалению, из-за создавшейся ситуации я вынужден ответить отказом на столь лестное предложение. Дело в том, что правительство без своего народа и своей земли то же самое, что на войне генерал без войска. При таком стечении обстоятельств единственное, что мне остается, — это продолжить политическую деятельность. Для этой цели мне, видимо, стоит выбрать Париж, как один из крупнейших городов Европы. Что же касается сопровождающих меня лиц, — добавил Жордания, — и членов бывшего правительства, то я даю им полное право поступать в соответствии с собственными желаниями...

Посол еще раз предложил Жордания и всем остальным осуществить переезд, подробно разъяснив все преимущества их пребывания именно в Польше. После долгого обмена мнениями военных деятелей — бывший начальник главного штаба вооруженных сил Грузии Закариадзе, генералы Чхеидзе, Бакрадзе, Казбег и полный состав юнкерского училища отправились в Польшу. Вторая группа офицеров, включая генерала Квинитадзе и полковника Амилахвари, последовала в Париж вместе с Жордания.

Перед прощанием посол Польши совершенно секретно объявил Жордания, что второе отделение военного министерства не пожалеет средств, если он до конца будет служить идее возврата утерянной власти. Жордания в свою очередь выразил полную к этому готовность и еще раз поблагодарил за столь искреннюю поддержку. Они расстались при полном взаимопонимании.

На второй день после того, как из Стамбула отошел корабль Жордания, хранители грузинской сокровищницы только причалили к турецким берегам.

Маленький югославский корабль, на борту которого находились Такашвили с женой и Иосифом Елигулашвили, недалеко от Еатума попал в сильный шторм.

Стояла обычная для этих мест дождливая погода. Волнение на море достигало пяти баллов. Суденышко стало сильно трясти, и ровно через час потерявший надежду на спасение капитан велел надеть спасательные пояса. Весь экипаж был охвачен паникой. Но, к счастью, вскоре распогодилось, и 14 марта они добрались до Стамбула, куда накануне прибыл и крейсер «Эрнест Ренан», стоявший теперь на рейде.

В Стамбуле Такашвили был тепло принят консулом бывшей грузинской демократической республики Иосифом Гоголашвили. И сам Гоголашвили, и его супруга, урожденная Натрошвили, были учениками Эквтиме Такашвили, они с радостью встретили своего учителя. Из Анкары прибыл и бывший посол Сосико Мдивани.

Эквтиме Такашвили вместе со всеми осмотрел стамбульский музей. На долгое время задержались они возле византийского храма VI века — Айа-Софии.

Такашвили надеялся, что хоть в Стамбуле его устроят на крейсер, где находились доверенные ему сокровища. Однако мореходство приняло решение перенести бесценный груз на корабль «Бьен-Хоа».

Корабль был достаточно загружен и шел с заданием обойти все порты Малой Азии, Египта и Северной Африки с тем, чтобы забрать оттуда и переправить во Францию всех больных и ра-

енных. Такашвили и его спутники вынуждены были согласиться. Другого выхода не было.

Капитан судна Пьер Вандьер радушно принял Эквтиме Такашвили с супругой, а также и всех остальных. После стольких мучений даже элементарно вежливое обращение казалось трогательным и неожиданным.

А тут еще обнаружился и пропавший ранее ящик. В нем находились живописные полотна и оленье рога. Велика была радость ученого, когда ему сообщили о находке.

20 марта корабль вышел из Стамбула и, обогнув Анатолию, спустился к киликийскому порту Мерсину, затем направился в Искендерум и лишь на седьмой день добрался до Бейрута, где простоял четыре дня. 31 марта судно взяло курс на запад и 5 апреля прибыло в Тунис. За трое суток стоянки Такашвили смог хорошо осмотреть раскопки Карфагена. Но неожиданно капитану было отдано по телефону распоряжение немедленно отправиться к Корсике для спасения одного судна. Это известие сильно обеспокоило Вандьера, так как у берегов Корсики имелось множество подводных скал и рифов. Нетрудно себе представить, в какое смятение пришли Такашвили и его спутники, узнав об этом приказе. Их, покинувших родину, обстоятельства и так заставили изменить маршрут, а теперь предстояло идти на риск — спасти обреченный на гибель корабль. Небольшая оплошность — и вместе с экипажем могут погибнуть бесценные сокровища, принадлежавшие грузинскому народу. Что скажет об этом История?! Кто сможет доказать, что они свернули к далекому острову без злого умысла?!

Но, к счастью, через полчаса капитану сообщили, что судно уже спасено, и «Бьен-Хоа» со своим экипажем взял курс на Марсель. Так, отправившись 11 марта из Батума, после месяца скитаний, 10 апреля они оказались в Марселе.

Сразу же по выходе из порта Бизерты капитан Вандьер направил в городской муниципалитет и финансовые органы Марселя депешу с просьбой подготовить военную охрану для переноса сокровищ на берег и сдачи их в банк. Такашвили в свою очередь послал в Париж представителю меньшевистского правительства Акакию Чхенкели просьбу направить в Марсель комиссию для разделения правительственного и музейного имущества.

В Марселе корабль встретил сенегальский полк. Солдаты, в основном чернокожие, оказались не только меткими стрелками, но и отличались твердостью нрава и безупречной честностью. Такашвили со спутниками расположились в гостинице «Регина», где и встретились с высланной по их просьбе из Парижа правительст-

венной комиссией в составе Зураба Авалишвили и Андрея Деканозишвили. Таким образом, в комиссию вошли четыре человека, включая Эквтиме Такашвили и Иосифа Елигулашвили.

На второй же день после прибытия корабля в Марсель солдаты сенегальского полка перенесли ящики с сокровищами в банк. Комиссия немедленно приступила к работе, которая заняла ровно месяц. 39 ящиков были сданы в марсельский банк, который потребовал за хранение 2500 франков в год. За один год сумма была выплачена заранее, и все направились в Париж. Оставшиеся ящики Зураб Авалишвили передал в парижский «Гардемебль».

Такашвили с семьей устроился в отеле, расположенном на проспекте Виктора Гюго, где уже жили все представители бывшего меньшевистского правительства Грузии с Ноэ Жордания во главе.

Весной 1921 года, незадолго до того, как бежавшее из Грузии меньшевистское правительство прибыло в Париж, на пост премьер-министра был избран Аристид Бриан. Как и его предшественники Клемансо и Мильеран, новый премьер задумал сплотить войска Антанты против Советской России. Под руководством Франции был организован военный союз Чехословакии, Румынии, Сербско-Хорватско-Словении, так называемая «Малая Антанта», с целью обрести гегемонию в Европе. С той же целью был заключен договор с буржуазной Польшей.

Франции дорого обошлась победа в империалистической войне 1914—1918 годов. Материальный ущерб составил 200 миллионов франков. В годы войны были полностью разрушены или частично пострадали тысячи промышленных объектов. В результате присоединения Эльзаса и Лотарингии частично возросла добыча железной руды и угля, производство цветных металлов, но в связи с восстановительными работами вновь и вновь возникали трудности и осложнения.

В правительственном лагере появились острые разногласия между радикалами и «национальным блоком», а также другими партиями. Эти противоречия были вызваны, в первую очередь, разразившимся в 1920-21 годах экономическим кризисом. Многие мелкие и средние учреждения были закрыты. Уменьшался объем промышленного производства. Кризис оказывал явное влияние и на внешнюю торговлю. Ухудшался уровень жизни населения. Начиная с лета 1921 года по Франции прошла волна забастовок. Ширилось возникшее вначале на востоке, а затем перекинувшееся и на север забастовочное движение работников текстильной про-

мышленности. Рабочие героически отстаивали свои права, боролись за улучшение жизненных условий.

Германия искусственно затягивала выплату репараций. Из 20 миллиардов золотых марок, которые Германия должна была выплатить Франции до 1921 года, не была выплачена и шестая часть. Правительство Франции пыталось воздействовать на Германию путем захвата в счет репараций немецких территорий. Еще в апреле 1920 года Франция оккупировала Франкфурт-на-Майне, а в апреле следующего года, совместно с Бельгией, — Дуйсбург и Рурорт. Эти меры все равно не обеспечили своевременной выплаты репараций. Германии помогали Англия и Америка, считавшие недопустимым усиление на континенте мощи и влияния Франции, и всячески тормозили выплату Германией долгов.

Но главным препятствием для процветания французской буржуазии было появление в стране коммунистической партии, во главе которой стоял лидер левых социалистов Марсель Кашен.

Правительство Франции, опасаясь новой революционной волны, поднявшейся в России, и явно возросшего влияния компартии, с удовольствием предоставляло убежище всем, настроенным против Советской власти. В Париже нашли себе пристанище белогвардейские генералы и претенденты на российский престол, черносотенцы-монархисты и кадеты, эсеры и петлюровцы, армянские дашнаки и азербайджанские мусаватисты, пришел черед и покинувших родину грузинских меньшевиков.

Прибыв в Париж, Жордания в сопровождении Чхенкели и Шевалье посетил Бриана. Бриан, этот поразительно гибкий и ловкий дипломат, интересный, представительный мужчина средних лет, тепло и учтиво принял лидера меньшевистского правительства Грузии Ноэ Жордания. Премьер-министр всячески восхвалял гостя, его прозорливость, интуицию политика, и выразил уверенность, что прославившаяся гостеприимством и смелостью Грузия вконец станет главным форпостом Кавказа, вновь обретет свободу и независимость. «Но до тех пор, пока это не произойдет, мы здесь, во Франции, будем делить с вами и радости, и неудачи, — говорил он. — Для вас — представителей нации с большой историей и традициями всегда будут открыты двери нашего дома...»

Жордания выразил сердечную благодарность премьер-министру за теплый прием и добрые, обнадеживающие слова. Со своей стороны, от имени «демократического правительства» он высказал полное с ним единодушие и намерение взять такой политический курс, который соответствовал бы жизненным интересам верхних слоев общества.

Акакий Чхенкели, официальный представитель Грузии во Франции, хорошо знавший Бриана, завел разговор о сокровищах, о ее величайшем, с точки зрения чистого искусства, значении. Бриан с удовольствием выслушал информацию Чхенкели и выразил желание рано или поздно лично осмотреть драгоценные реликвии прославленной грузинской культуры.

Под конец Бриан затронул вопрос о тех суммах, которые были необходимы для существования грузинской эмиграции.

— Мы взяли с собой правительственную казну, — сказал Жордания, — на какое-то время нам хватит. Собираемся также переплавить и продать не подлежащее музейной инвентаризации серебро. На какое-то время хватит и этого. Ну, а потом, я надеюсь, откроется путь на родину... А если уж нам не суждено вернуться в Грузию, пусть бог нас рассудит...

— Я не сомневаюсь, что рано или поздно дорога в Грузию будет открыта, — сказал Бриан. — Но вы прекрасно знаете, что под лежащий камень вода не течет, необходимы действия. Меня интересует, каковы ваши взаимоотношения с Польшей?

— С премьер-министром Польши нас связывают близкие отношения и давнишняя дружба, — ответил Жордания. — Мои симпатии всегда были на стороне Польши и польского народа.

— На сегодняшний день ударной силой против Советской России мы, кроме Чехословакии и Румынии, должны считать и Польшу. Я имею в виду географическое расположение Польши и ее вооружение. С этими странами у нас заключены военные договоры и союзы. Если вы в свою очередь, от имени своего правительства, установите дипломатические отношения с этими государствами, и, в частности, с Польшей, вы, кроме морально-политической поддержки, сможете получить и единовременную помощь, либо долгосрочный заем.

— Постараемся! — воскликнул Жордания, который надеялся в ближайшее время наладить дружеские отношения с правительством Пилсудского.

Перевод А. МАРГВЕЛАШВИЛИ

Окончание следует



Тянуло сыростью с Дарьяла.
 Ночная птица вдалеке
 Две странных фразы повторяла
 На непонятном языке.
 Так сладко в кузове качало...
 То был обманчивый пролог:
 Мой выход первый и начало
 Моих скитаний и тревог.
 Был первый праздник расставанья,
 Все было внове — звон копыт,
 И ночь, и город без названья,
 И дом, где будущее спит.
 К своей судьбе оторопелой
 Я так врывалась належке...
 А птица пела, птица пела
 На незнакомом языке.

* * *

Чего ж мы медлим, друг, нас дома ждут и ждут,
 Там ясный день стоит, а здесь не рассветает.
 О нас там речи тихие ведут,
 И в галерее ласточка летает.
 О, лица милые! — Ты узнаешь их круг?
 — Наш стол садовый в солнечных отливах.
 Как чисто прибран дом! В нем столько добрых рук,
 Внимательных, искусных, хлопотливых.
 Я помню осокорь. Один среди полей
 Стоит он и сейчас, нагой, окоченелый,
 Лишь смертью пощажен. Укрой меня теплей,
 Вздохни иль прошепчи средь ночи онемелой.
 Все та же тьма в окне и ветер за стеной.
 Мне память бередит затверженная дата.

О, неужели впрямь то было все когда-то,
Здесь, не в иной стране, и нет тебя со мной...

* * *

Мы разминулись. Это моросил
Осенний дождь, и не хватило сил
Поднять глаза. Меня увел туман.
А ты подумал, что из теплых стран
Повеял ветер, иль нахлынул сон
Когда-то, кем-то прожитых времен.
Прошел по лужам ряд автомобилей.
О ком-то вспомнил ты — они любили,
Страдали, умерли... На стеклах плакал лед.
Ты видел птиц осенний перелет
Над морем темным, видел поезда
Ночные, в даль бегущие, туда,
Откуда нет возврата. Ветер дул
Тебе в лицо, и темных улиц гул
То утихал, то подымался, вторя
Наплывам неразгаданного горя.

СТРЕКОЗА

Твой взгляд ее в луче открыл,
Она летит сюда, —
Созданье света, слабых крыл
Огнистая слюда.

«Тянуло сыростью с Дарьяла. Ночная птица вдалеке Две странных фразы повторяла На непонятном языке». Помню эти строки очень давно, с времен Литературного института, с последней военной осени, когда к нам на третий курс пришла Вера Кауфман-Киреева, с которой мы сразу подружились на многие годы вперед... Вернее, она вернулась в Литинститут, три курса которого закончила до войны. В войну она жила в Тбилиси, работала, сжилась с Грузией в эти трудные годы, полностью приняла ее в свое сердце, — не только праздничную, солнечную, но будничную, ежедневную, нетопленную, трудную — и все равно всегда гостеприимную...

Еще до войны московская девочка из арбатских переулков, игравшая в снежки на Гоголевском бульваре, связала свою судь-

Ни зла не зная, ни добра,
Одно тепло любя,
Она полоской серебра
Вздremнула близ тебя.
Что делать с нею — смять, убить,
Чтоб не было следа?
Отпустишь, значит полюбить
Придется навсегда.
Нет, лучше насмерть, лишь бы в плоть,
Верней втоптать в росу,
Иль на булавку наколоть
Мелькнувшую красу.

* * *

Ну что ж, — еще отрада прочь.
Стемнело... Я уйду.
Проснувшись, вспомню эту ночь,
Нетяжкую беду.
К дождю прислушаюсь, пойму,
Быть может, в сотый раз:
Кто просит малого, тому
Всегда сужден отказ.

* * *

Три стиха, три сына у меня, —
Лицами несхожая тройня.
Белокур мой первенец, вихраст,
На проделки разные горазд.

бу с Грузией, породнилась с этой землей, выйдя замуж за грузина, стала называться «кارتლის რძალი»... Некогда вышедших за пределы Грузии — в Россию — называли «тергдаლეული»... А Вера Киреева вошла в Грузию из России, видимо, ее-то и надо называть словом «მტკვარდალეული» — испившая воды Мтквари (Куры). С тех пор всегда возвращалась она в Грузию — с бедами, сомнениями, радостями... Не случайны те юношеские строчки: «Мой выход первый и начало моих скитаний и тревог...»

Все, что она узнавала у вод Мтквари, — узнавала досконально, изнутри, почувствовав, полюбив... Все, что полюбила (и всех, кого полюбила), полюбила навсегда: землю, хлеб, воду, солнце, людей — их особую душевную чуткость, щедрость,



По трущобам бродит он за мной
Со своей гармоникой губной,
Свистом передразнивает птиц,
Сочиняет сотни небылиц;
Все его посулы словно дым.
Любит он под ливнем ледяным
С непокрытой бегать головой,
Свист перепевая ветровой.
И порой, совсем заоченев,
Вдруг такой придумает напев, —
Бесшабашный, дикий, озорной,
Что смолкает ветер за стеной.
Он чужую рифму, коль сладка,
Из кошелки стянет иль с лотка,
Но премудрость книжную, ни-ни,
Не возьмет он, сколько ни мани.

Средний сын мой вечно не у дел.
Рано вырос он и поседел.
Он в крылатку ветхую одет,
Хлеб с водою — весь его обед,
Но всегда стремительно-легка,
Горделива поступь чудака.
Величав осанкой он и прост,

ласковость, умение одаривать теплом, снимать — пусть ненадолго — груз забот...

— Уезжаю в Тбилиси!.. — сообщала она порой неожиданно. — Надолго? — Нет, недели на две... — И — оставалась на 3—4 месяца... Встречала первое цветение миндальных деревьев. И заморозки, схватывающие их... Помню, когда оказывались вместе, бесконечные блуждания по узким улочкам старого Тбилиси, крутые подъемы к Метехскому замку, когда еще не был выровнен и срезан обрыв и еще не стоял Горгасалу памятник... И спуски по сбегаящим стремительно с Мтацминды улицам, где нельзя было ни на секунду остановиться, — нельзя было удержаться на ногах... И непреходящее ощущение счастья — от своей сопричастности ко всему этому...

Как король, всходящий на помост;
Говорят с усмешкой про него:
— Жаль беднягу, видно он — того...
Он по дому бродит без помех.
Мне понятны бред его и смех,
Чистых глаз рассеянная грусть.
Всю меня он знает наизусть.

И богат и важен мой меньшей.
У него ни мысли за душой,
Переменчив суд его и взгляд,
И поет он то лишь, что велят.
Ото всех за то ему почет,
И казна в кошель его течет,
И велит он братьям свысока
Не валять впустую дурака.

* * *

Люблю недобрый взгляд твоих печальных глаз
И твой высокий лоб, усталостью омытый.
Темно в глухих домах, и в небе свет погас,
Но в сердце мне глядишь пронзительней из тьмы ты.

И оттого, мой друг, мне внятней пенье рек,
Гортанный говор их в полуночи грузинской,
Больней губам моим дрожанье теплых век
Чужбины сладостной, красы нематеринской.

К своей судьбе оторопелой
Я так врывалась налегке...
А птица пела, птица пела
На незнакомом языке.

Какие удивительные, какие пророческие строчки! И какая в них магия!..

Все так и было: и судьба, и «налегке». И птица пела... И незнакомый язык вошел в жизнь, в быт, в праздник... Вера Киреева постигала тайну языка, магию земли грузинской, ее дух, — и душу ее людей, их характер, темперамент, особенность мироощущения... Возникло родство большее, чем кровное... Хорошо помню эту родню, ее — Вериных! — родственников, в до-

Прости меня, прости за то, что я люблю,
Ты ж холоден душой и радостью покинут,
Шарманщику-судьбе мы дали по рублю,
Суди же — кем из нас грошовый жребий вынут.

Но каждому — свое. И так тому и быть:
Наутро снова мне хранить лишь горечь вдовью.
И будешь ты опять, чтоб только злость избыть,
Глумиться над моей беспомощной любовью.

* * *

Дорога, мост и поворот.
— Весь мир в дожде густом и тихом.
Усмешка искривила рот:
— Пора, не поминайте лихом.

О, я тебе смотрела вслед,
Провал чернел все шире, шире...
— Одной, навек, на сотни лет
Остаться в опустевшем мире!

А ты предвидишь только день,
Дорогу от моста до рощи.
— Что страсть, разлука? — Дребедень.
Жизнь мучит яростней и проще.

Ты знаешь твердо, что была,
Что буду я тебя счастливей...

ма которых мы входили, — тетушек, двоюродных сестер, — хлопчущих, обогревающих, обласкивающих, потчующих всех, кто вошел (святыя слова на этой земле — да здравствует тот, кто вошел!). И так случилось далее — закономерно, органически, изнутри — что она посвятила себя грузинской литературе, стала переводить и стихи, и прозу — больше прозу, — и грузинскую классику, и советских писателей... Так стала она служить благородному делу — художественному переводу, — делу взаимопонимания (от повторения — а сейчас часто повторяют эти слова, и правильно делают, — от повторения, говорят, молитва не портится)... И впрямь — благородное это дело, — чтобы люди понимали друг друга: не в этом ли залог счастья?.. Все предпосылки для этого были заложены в Вере Киреевой — в ней самой!—

Весь, как подводная скала,
Ты стал мне виден при отливе.

А я, подобная волне,
В тот раз, не знаю уж в который,
Узнала, что доступны мне
Одни попытки и повторы.

* * *

Как шумели над лесом дожди,
Не давали уснуть до утра.
Все просил ты меня: подожди...
Я твердила: пора уж, пора.

Спит под белою дымкой гора.
Одинокая встала звезда.
О, мой друг, неужели пора?
О, скажи мне, ужель навсегда?

Что ж я плачу, увидевши сон?
Та печаль от меня далеко.
Частоколом наш лес обнесен,
Опустевшему сердцу легко.

Отраженье ли сходен в воде,
Пересекшая луг борозда, —
Где то место, мгновение где,
Разделившее нас навсегда?

благородство самоотдачи, не принесения себя в жертву, а бескорыстного дарения... Безоглядная любовь к земле грузинской, глубинное знание всего — в пространстве и во времени, горизонтальное и вертикальное... Знание достоверное, дотошное (это слово, видимо, прежде звучало как «дотошное», то есть сверхточное!), знание всего, что стоит за словом — всей атмосферы жизни — и атмосферы подлинника... И колоссальное чувство ответственности, тщательность во всем, за что бы она ни бралась... И, естественно, первоначален и всеопределяющ — ее поэтический дар, талант... И — особое дарование, необходимое для перевода: умение выслушать другого, умение понять ближнего и дальнего, особая зоркость и слух, умение тратить на других свой дар слова...

Разомкни же объятия, гляди:
Ты обманут, с тобою не та.
Позади ль, у другого ль в груди
То приволье и та красота?



Что украл у судьбы сгоряча,
Что лелеял ты, что ты сберег? —
Два лица, два пугливых луча
Дождяных, предрассветных серег.

* * *

Мы подходим к чужим берегам в темноте,
Не противясь терзающей сердце мечте.
И порой на заре различает земля
Уходящую, стройную тень корабля.
Не страшит нас в глубинах таящийся риф.
По бурунам скользим, не касаясь их грив.
Если ж мертвого штиля найдет полоса, —
Все тоской отреченья полны паруса.
Каждый час наш измерен десятками лет.
Ты ли это, мой друг, так изглодан и сед!
Окровавленной грудью налег на штурвал,
Всей душою вперяясь в беззвездный провал.

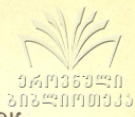
Вот неведомый город встает над водой.
Слышен скрежет лебедек и смех молодой.
Да призывно гудит, отходя, пароход
И проносит огни над спокойствием вод.

Она переводила стихи Г. Леонидзе, Григола Абашидзе, Ираклия Абашидзе, И. Гришашвили, С. Чиковани...

В ее переводе вышли романы Лаврентия Ардазиани «Соломон Меджгануашвили», Георгия Церетели «Первый шаг» и «Гулкан», рассказы Серго Клдиашвили, Михаила Мревлишвили, романы Э. Зедгинидзе, Ладო Авалиани, Ростома Бежанишвили и многих других...

А стихи — писались всегда. Давно закончились семинары — обсуждения, оценки, наскоки и восхваления. Стихи писались. И — не предлагались никуда... Это была форма самовыражения — самая емкая, напряженная, лаконичная, образная... Как порой говорят — поэт не профессия, а судьба.

В ее стихах — тот же ей свойственный и неотъемлемый от



Паутиною музыки мрак перевит,
 И домов освещенных таинственный вид.
 Не свершась, не расклеив младенческих век,
 Там и наша судьба затерялась навек.
 О неистовый друг мой, помедли, внемли!
 — Мы рассыплемся прахом, коснувшись земли.
 И, тускнея, поют золотые огни,
 Затонули, померкли... Мы снова одни,
 От печали взъярясь, устремляемся прочь.
 Впереди бездыханное море и ночь.
 Только нить по воде протянула звезда,
 Нас в туман уводя, в Навсегда, в Никогда.

* * *

Нет, не любовью ты меня дарил —
 Терпением горьким, ранней сединой.
 Мне в мир широко двери отворил,
 И ветер смел мой терем лубяной.

К зовущим сквозь метель колоколам
 Ты вел меня и падал, и вставал.
 И черствый хлеб с попреком пополам
 Нам поселянин встречный подавал.

Ты был моим дитятей и бичом,
 Так легок сердцем, так безгрешно слаб,
 Что и заря прощальная лучом
 Тебя к вершинам сонным унесла б,

нее абсолютный слух, чувство слова, чувство ритма, меры — совершенный вкус (по Пушкину, состоящий в чувстве соразмерности и сообразности). В ее стихах — не «подготавливавшихся» к печати, что подчеркиваю! — высокое мастерство, зрелость, требовательность к себе — не допущено никаких небрежностей, скажем, в рифмовке, нет «приблизительных» слов, — точно и тонко схвачены переменчивость настроения, состояние души, поймано «налетевшее чувство»...

Но... как справедливо сказано Симоном Чиковани: «строчке дома не сидится, ей только жизнь на стороне»... И далее — «ей слаще всех земных убежищ путь от души к душе другой»...

Необходимо проделать этот путь стихам Веры Киреевой... С давних пор памяты нам, ее друзьям, эти стихи, строчки ма-

Когда б не я, когда б не этот груз
Моих желаний, ненависти, слез,
Который ты, других не знавший уз,
Лаская песней, как ребенка, нес.

До ночи добредали мы с трудом
И ты в бреду, переча вещим снам,
Шептал, смеясь, что близок, близок дом,
Где знают нас, где будут рады нам.

Я слушала, беспомощно следя,
Как средь песков теряется ручей,
Как стынут камни, ноги холодя,
От торжества немеркнущих лучей,

Что бархат ночи множит и дробит,
Сливая вновь в нерасторжимый круг,
Как справедливость высшую обид,
Напрасной веры и предсмертных мук.

* * *

Серые ветви сада,	Слушает мои думы,
Серая башня собора,	Словно душа живая.
В сером тумане горы —	С ними наедине я,
Грусть моя и услада.	Нынче совсем иная,
И кипарис угрюмый	В сумерках индеея,
Высится, чуть кивая,	Путь свой припоминаю...

гические и афористичные, задорные и пронзительные — и всегда строки мастера... Их живая интонация, их эмоциональность и энергия, когда слышится подлинный голос, видишь осанку, жест. Ее стихи исполнены благородства, достоинства, в них нет суетливости, порой они чуть ироничны. В них — акварельность красок, прозрачность, особая освещенность воздуха. Здесь представлены стихи разных лет — разных эпох, разных возрастов. Под ними нет дат. И даты не нужны. В каком бы возрасте они ни писались — это стихи зрелые, стихи одного поэта. Во всех — цельность, мастерство и благородство письма, рисунка, изображения и выражения. Это стихи значительные, истинные — и не имеет значения, что раньше, что позже спелось...

Елена НИКОЛАЕВСКАЯ

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Обсуждаются проблемы романа

В конце прошлого года в Тбилиси состоялось обсуждение за «круглым столом» темы «Советский многонациональный роман и взаимодействие литератур», организованное редакцией «Литературной газеты» и Союзом писателей Грузии. Отчет о его работе с выдержками из выступлений писателей и крити-

ков был опубликован в «Литературной газете» (№ 51 за 1981 год). Однако, принимая во внимание актуальность и важность обсужденной проблемы, «Литературная Грузия» сочла целесообразным предложить своим читателям стенографический отчет этого обсуждения (выступления публикуются с сокращениями).

Нодар ДУМБАДЗЕ,
председатель правления Союза
писателей Грузии (Тбилиси)

ПРОЙТИ ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ

Советский роман в наши дни достиг немалых высот, и сейчас без учета его опыта невозможно говорить о судьбах этого жанра в мировой литературе. Наша задача трезво и объективно оценить значение этого вклада.

Да, роман в нашей советской литературе — явление поистине многонациональное. Советский роман — это и русский, и киргизский, и украинский, и литовский, он создается на стольких

СИНТЕЗ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Роман и, если говорить более широко, проза рубежа 60 — 70-х годов казались тогда критикам недостаточно всеобъемлющими, недостаточно широкими, глубокими и прямо обращающимися к фундаментальным запросам человеческого духа. От романа ждали синтеза — синтеза действительности, воображения, широкой масштабной картины современности. Точка зрения и критиков и читателей той поры, наверное, точнее всего была выражена критиком Евгением Сидоровым, который свою статью, наделавшую много шума, назвал «На пути к синтезу».

Если смотреть на 70-е годы под углом зрения развития прозы, в частности романистики, то мы увидим, что этот самый вожделенный, мечтаемый синтез был во многом достигнут. Роман 70-х годов, роман наших дней — это (не хочется пользоваться словом синтетический, потому что от него пахнет целлофаном) роман-синтез, в котором достигнута всеобъемлющая, обобщающая картина мира. Достаточно вспомнить наиболее яркие, крупные, заметные произведения романного жанра последних лет, чтобы убедиться в их синтезирующей природе.

Не охватывая всего, напомним здесь такие романы, как «Кануны» Василия Белова, «Друзья» Григория Бакланова, «Комиссия» Сергея Залыгина, «Старик» Юрия Трифонова, «Сандро из Чегема» Фазиля Искандера. «И дольше века длится день» Чингиза Айтматова, «На исходе дня» Миколаса Слущкиса, «Маленькие романы» Энна Ветемаа, такие прекрасные произведения грузинских писателей, как «Дата Туташхиа» Чабуа Амирэджиби, «Шел по дороге человек», «И всякий, кто встретится со мной» Огара Чиладзе, «Закон вечности» Нодара Думбадзе, прозу Гранта Матевосяна, Валентина Распутина, Василя Быкова, Андрея Битова и многих других замечательных писателей.

Мне кажется, одной из самых существенных черт литературы наших дней является то, что она как свой практический идеал, как свою непосредственную цель восприняла завещанный еще Пушкиным и подхваченный Достоевским принцип всемирной отзывчивости литературы. Это было сказано о русской литературе, это, я думаю, имеет отношение и ко всей современной многонациональной литературе.

Мы говорим о том, что современный роман рождается в процессе взаимосвязи литератур народов нашей страны. Что на

киргизский роман, скажем, воздействуют явления прибалтийской прозы, что украинская проза испытывает, в свою очередь, воздействие узбекской, грузинской и любой другой нашей современной литературы. Писатель всегда вступает в диалог со своей литературой, с литературой братских народов. Но сейчас, мне думается, актуален — и не случайно VII съезд писателей СССР подчеркнул эту актуальность — вопрос о взаимосвязях современного советского писателя с процессами и явлениями, которые происходят во всем мире, в мировой литературе.

Скажем, говоря о романах Отара Чиладзе, мы учитываем не только характерные явления и тенденции литературы нашей страны, но и опыт, скажем, латино-американского романа, Фолкнера, других крупных писателей XX века. Причем здесь важно, что это как раз отношение диалога, отношение творческого взаимодействия, а не простого ученичества, как это было, скажем, в произведениях более раннего периода — 50—60-х годов, когда появились «наши» Хемингуэи, Ремарки или еще кто-то в этом роде. Принцип всемирной отзывчивости, характеризующий современное состояние литературы, направление ее движения, несовместим с опасностью провинциализма. Полагаю, сейчас писатель больше всего должен бояться именно провинциализма, именно своей обособленности от всего движения всемирной современной литературы.

Почему так быстро поблекли в нашем сознании многие произведения 40—50-х и даже 60-х годов? Очевидно, это связано именно с той самой бедой, которую сейчас я так обобщенно, символично называю бедой провинциализма, поверхностности и неглубины. Ведь многие книги той поры (я, разумеется, говорю не обо всех, поскольку всегда имеются какие-то вершины, пики, которые переживают свое время и переживают свой век) были написаны и честно, и правдиво, и страстно, и принципиально. Но все дело в том, что художник зачастую рисовал человека именно того дня, когда создавался этот роман. То есть, условно говоря, художник изображал выражение лица человека, которое было навеяно днем конкретным, днем бегущим и убегающим, тогда как черты лица ускользали от его внимания.

Сейчас проза явственней обратилась именно к чертам лица, к тому фундаментальному, что характеризует человека вообще и что под всякими временными, зачастую случайными, поверхностными напластованиями определяет этого человека.

И вот если вспомнить те произведения, которые я уже называл, и не только те, то мы увидим, что они характеризуются интересом к истинно фундаментальной или, как говорят фило-

софы, онтологической проблематике. Не так важно, когда написан и напечатан «Дата Туташкиа» Ч. Амирэджиби. Ясно, что этот роман мог бы, скажем, полежать еще 50 лет, и тогда он был бы так же актуален, так же интересен. И все потому, что речь идет о человеке для любого времени, для любой ситуации, для любой проблематики.

С выдвижением на первый план прозы синтеза, характеризующейся вниманием к онтологической духовной проблематике, следующей курсу всемирной отзывчивости, налицо кое-какие потери современного романа. Условно говоря, по сравнению с прозой 60-х годов наблюдается ослабление аналитического, что ли, духа, проблемности. Когда критики писали о прозе 60-х годов, то касались, как правило, тех проблем, которые выдвигает писатель, и спор шел, строго говоря, о жизни, о том, насколько актуальны и существенны проблемы, выдвинутые автором, насколько остро они поставлены и смело решены. Сейчас же, когда мы говорим, допустим, о романах наших грузинских друзей Н. Думбадзе, Ч. Амирэджиби, О. Чиладзе и других, то ведем речь уже не о проблемах, а о том, насколько гармоничен, всесторонен и широк созданный писателем мир, насколько его реальность близка к реальности жизни.

Не случайно в лучших явлениях современной прозы уже стал гораздо менее актуален самый, может быть, важный для прозы 60-х годов момент нравственного выбора. Проза той поры зачастую строилась вокруг этого, и в центре сюжета была проблема нравственного выбора — пути, того или иного поступка. Сам момент выбора, естественно, занимает писателя и сейчас, но он уже не главный, не определяющий, а просто воспринимаемый им, как один из пиков жизненного течения, тогда как основное его внимание сосредоточено как раз на этом жизненном течении.

Проза 60-х годов сформировала убеждение, что самым главным в романе, в прозе, в литературе является достижение жизненной достоверности, установка на правдивость, на правду как на высшую цель художника. Естественно, все мы чрезвычайно высоко ценим это направление в развитии литературы. Но дело в том, что установка на правду, на достоверность до известной степени сузила спектр художественных средств и возможностей современной прозы. Для литературы 60-х и отчасти 70-х годов характерно усилие, воссоздающее жизнь, реальность. Художник, словно бы отказываясь от вымысла, обращается к своему опы-

ту, к опыту своих сограждан и рисует жизнь именно такой, какой ее видит, не переплавляя ее в горниле своего воображения.

Наиболее ярким, сильным произведением русской литературы, идущим в этой традиции достоверности, я бы назвал повествование в рассказах Виктора Астафьева «Царь-рыба». Художник словно предупреждает читателя, что во всем, что он прочтет, нет ни слова вымысла, фантазии, отхода от реальности. Под каждым словом, под каждой строкой будто невидимым компостером пробита точность факта, точность достоверности. Естественно, что такая проза вызывает всемерное уважение, вызывает любовь. И она, собственно говоря, сформировала наше представление о современной литературе, о том, чем она должна заниматься.

Но в современной литературе до известной степени была потеряна культура вымысла, преобразующего слова, культура писательской, творческой фантазии. Не случайно во многих наиболее интересных книгах наших дней писатели все чаще и смелее обращаются к каким-то фантастическим, мифотворческим, сказочным моментам, мотивам и линиям. Потому что чувствуется реакция на все заполонившую достоверность. Одновременно, мне кажется, не случайно и то, что как раз этот фантастический элемент, элемент вымысла во многих произведениях наших дней — самое слабое место. Достаточно вспомнить роман Ч. Айтматова «И дольше века длится день», чтобы показать, насколько слабее фантастическая линия, связанная с космосом, по сравнению с линией реальной, достоверной. То же самое можно сказать и о нашумевшем в свое время романе Владимира Орлова «Альтист Данилов». Все стали читать его с большим интересом, поскольку он был прекрасен своим вымыслом, последовательной установкой на творческую фантазию. И в общем быстро соскучились, потому что автору не хватило фантазии, вымысла, и роман стал прокручиваться, повторяться.

Очень хороший роман латышского композитора и писателя Августа Зариня «Фальшивый Фауст» заново ставит в ироническом ключе классическую проблему Фауста и решает ее очень актуально. Но, к сожалению, и там самым слабым был вымысел, фантазия.

На мой взгляд, это происходящее на наших глазах увлечение мифотворческими, сказочными, мифическими мотивами связано именно с тем, что писатель мечтает вернуть поэзии и прозе ее преобразующую силу, силу художественного вымысла, о котором еще Пушкин говорил: «Над вымыслом слезами обольюсь».

ВЗРАЩЕННЫЙ НА РОДНОЙ ПОЧВЕ

Мы не единожды на своем веку убеждались, что остаются жить только те произведения, которые ведут свою родословную от конкретного уголка земли, лучше всего освоенного писателем. Среда, в которой он созрел, которая ему наиболее знакома, подсказывает темы, проблемы, но самое главное — дает запас образной фактуры, отложившейся в эстетической памяти на протяжении всей жизни.

Поразить воображение читателя можно только чем-то своим, что вдруг становится важным для всех.

Пасечник Роман из романа Олеса Гончара «Твоя заря» заинтересовал массового читателя потому, что автор наделил его живыми чертами жителя полтавской Тернившины и возвел до общечеловеческого символа доброты; Анна Отара Чиладзе («И всякий, кто встретится со мной») изумительно четко фиксируется в памяти именно как жительница грузинского села Уруки, а воспроизводится в воображении как образ мировой скорби; мифический манкурт Чингиза Айтматова, став символом потери родовой памяти, не перестал быть казахским пастухом; Настена и Андрей Валентина Распутина («Живи и помни») — обыкновенные сибиряки — несут в себе предостережение всему человеческому роду.

По-разному осуществляется художественное освоение писателями родной почвы, но цель одна: литературный герой, став жителем села, городской улицы, работником конструкторского бюро или учителем, обязательно, если это в силах писателя, должен стать выразителем чаяний своей родины, должен стать национальным и лишь затем — общечеловеческим типом. Академик Карналь из романа Павла Загребельного «Разгон» потому так активно воспринимается читателем, что он видит его не только на мировых симпозиумах, но и на похоронах отца в родном селе, потому что он не вообще ученый, а ученый именно киевский, потому что его родословная идет из недр украинского народа.

Человеку свойственно воспринимать весь мир, но при этом он стоит на своем пяточке земли.

В современной романистике заметны тенденции нравственных исканий, сопоставление личности и общества, осмысление преемственности поколений. Но решение этих проблем возможно только

тогда, когда автор видит, помнит, знает, как сказал Ч. Айтматов, свой Шекер.

Ольс Гончар в романе «Твоя заря» видит свою Тернившину со стороны, с чужбины, он изучает ее в том психологическом состоянии, когда, по словам автора, «такой важной становится каждая росинка в этом нашем голубом мире!» И если бы не этот ностальгический угол авторского зрения, вряд ли донес бы он до читателя идею значимости Родины.

Не отсутствие ли родового корня, не потеря ли понятия «Тернившина» или «Шекер», как микрородины, приводит иногда к тому, что пораженные безразличием и опустошенностью люди с бездушной легкостью меняют великую Родину на чуждый край. Известный роман Юрия Бондарева «Выбор» убедительно доказывает этот факт.

Предупреждение нового поколения, стоящего перед опасностью нигилизма, стало если не доминирующей, то, во всяком случае, одной из главных проблем в современной романистике. Пронизывая насквозь роман Ч. Айтматова «Буранный полустанок» («И дольше века длится день»), она находит свое самое яркое воплощение в притче о манкуртах, у которых отобрана родовая память и которые, будучи лишены ее, хладнокровно могут поднять руку на родную мать.

Кому на земле не сродни эти идеи? Но они доходят до масс только тогда, когда писатель не декларирует их, а выводит из реальной жизни обитателей того или иного уголка планеты.

Ныне часто говорят о фольклорности многих литературных произведений у нас и за рубежом. Известно, что на Западе в среде прогрессивных литераторов усилился интерес к творчеству Гоголя. Знаем, какой популярностью пользуются у нас латиноамериканские романисты. Никто, наверное, не осмелится категорически утверждать, что на Маркеса непосредственно влиял Гоголь, а на украинского писателя Василя Земляка, автора знаменитой «Лебединой стаи» — Маркес, но и не следует отрицать, что мировой интерес к фольклору и мифологии несет в себе мощный заряд взаимодействий, ибо возник он как проявление национальной формы — против космополитизма как политической категории.

Обращение к мифам и притчам — это отрицание безразличия, которое порождает в людях скепсис, пренебрежение к историческим традициям, это воплощение в художественном образе священного чувства любви к родному краю.

Сегодня мы можем, не преувеличивая, говорить о национальной тематике в советской литературе. Но все названные мной выше авторы настолько национальны, насколько и интернациональны.

Это можно сказать о романах Григола Абашидзе, Реваза Джапаридзе. Например, вопросы личности и общества в романе Ионаса Авижюса «Потерянный кров» родственны литовцу, так же как и украинцу. Роман идей Чабуа Амирэджиби, в котором идею конформизма олицетворяет Мушни Зарандиа, а идею служения правде — Дата Гутахшиа, будучи чисто грузинским, своим пафосом правдоискательства становится общечеловеческим.

И еще несколько слов, которые на примере моей собственной работы подтвердят изложенную выше мысль.

Я сейчас — в поисках следов почти забытого украинского ученого, друга Тараса Шевченко Николая Гулака, которому за участие в Кирилло-Мефодиевском братстве запрещено было возвращаться на Украину, и он много лет прожил в Тифлисе и Гяндже, где и умер. Гулак одним из первых сделал научный анализ «Витязя в тигровой шкуре», был крупным исследователем грузинской литературы и языка, посвятил много трудов азербайджанской литературе. Я был бы счастлив, если бы мне здесь, на Кавказе, помогли найти его могилу, как нашел могилу Давида Гурамишвили на Украине украинский ученый Дмитрий Косарик в 1940 году.

Но дело не в том. Желая как можно лучше изучить жизнь Грузии второй половины XIX столетия, я заинтересовался грузинской литературой и прочитал роман Отара Чиладзе «И всякий, кто встретится со мной». Не стану говорить, насколько он грузинский, — это известно всем. Но именно то, что роман отображает историю грузинского народа на определенном отрезке истории, в котором жил и Гулак, пролило для меня свет на личность украинского ученого в контексте истории двух братских народов.

Такова сила художественных произведений, которые поражают воображение читателя чем-то неповторимо личным, что вдруг становится важным для всех.

Абиш КЕКИЛЬБАЕВ,
прозаик (Алма-Ата)

В ОЖИДАНИИ ГЕРОЯ

Не слишком ли очевидна неувязка между двумя самыми расхожими утверждениями оперативной критики о сегодняшнем состоянии советского романа?

То она с гордостью и убежденностью отмечает, что роман как доминирующий жанр литературы переживает у нас подлинный расцвет.

То с той же настойчивостью упрекает прозаиков в том, что наш читатель в определенной степени испытывает дефицит в ярких и масштабных образах героев нашего времени.

В чем же тогда состоит расцвет советского романа, если в нем так мало ярких образов человека наших дней?

С появлением каждого нового талантливое произведения мы все больше убеждаемся в том, что роман, как и вся литература в целом, укрепляет свою позицию, что центральный нерв обновления он находит прежде всего в духовных исканиях своего современника.

Сколько значительных образов создано у нас лишь за последнее десятилетие! Разве Никитин и Васильев Ю. Бондарева, Буранный Едигей Ч. Айтматова, Рамишвили Н. Думбадзе, герои трилогии Ф. Абрамова, военных повестей и романов В. Быкова и Г. Бакланова, сибирские женщины из повестей В. Распутина, Лосев Д. Градина, Заболотный О. Гончара не вызвали активную работу ума и сердца у наших читателей? Разве уступают они по глубине постижения своего времени, по тому, как мастерски точно и тонко выписаны, своим предшественникам — удачам прошлых лет?!

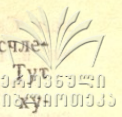
Безусловно, нет! Так в чем тогда вопрос?

Видимо, он в том, что наши критики ждут не просто интересных и значительных образов, а типичных, что ли, героев нашего времени. Ведь создавалось же в прошлом немало образов, в которых нашли свое концентрированное выражение целые этапы истории общества.

Общеизвестно, кто был типичным героем времен гражданской войны, первых пятилеток, Великой Отечественной. А сегодня... Разве осмеливаемся мы с такой же определенностью ответить на вопрос — кто должен стать наиболее типичным героем нынешней нашей литературы?

Высокий накал социальной борьбы в современном мире определяется огромным разрывом между поистине фантастическими космическими взлетами, осуществляемыми творческим разумом, и столь же ошеломляющими нравственными падениями, порожденными ненасытным инстинктом потребительства, непомерной величиной амплитуды нынешних колебаний человеческой совести между умозрительным понятием долга и вполне земной, реальной и конкретной выгодой...

В условиях такого драматического состояния мира бурное социальное творчество нашего общества ничуть не утратило своего бывшего размаха, не сузило своих масштабов, а вступило в новую, еще недостаточно полно осмысленную художественным творче-



ством полюсу. Сегодняшнее наше бытие не так-то просто расплести на героическое и повседневное, локальное и масштабное. Тут необходим другой подход, другие измерения. Наши крупные художники, наделенные обостренным социально-философским зрением, сознательно избегают привычных измерений, стремятся по-новому осмыслить непростую современную реальность.

Наша художественная литература как часть нашей общественной мысли, являющейся авангардом общественного самознания человечества, не вправе приукрашивать суровую действительность современности, сглаживать ее все более обостряющийся драматизм; она призвана мобилизовать людей на трезвое осмысление эпохи, учить их жить и действовать осознанно. И отраднo, что наш роман настойчиво идет на усложнение проблематики, драматизм содержания, достигая этого не путем «выкручивания сюжета», повышенного внимания ко всяческим экстремальным ситуациям. Вместо многоплановости сюжетных линий — многомерность концептуальной основы, вместо многогеройности — множественность точек зрения на происходящее, вместо героев-носителей «идей» и «проблем», героев непосредственного активного действия — герои, ведущие активный идейно-нравственный поиск, углубленное осмысление своей судьбы и окружающего мира, вместо накала страстей противоборствующих сторон — напряжение бескомпромиссной работы совести, вместо яркости поступков и поведения героя — обостренность его мировосприятия и глубина его переживаний, вместо развернутых описаний — броская деталь, превращающаяся сперва в многозначительную метафору, а потом в своеобразную формулу основной концепции произведения, вместо единства времени — активность и гибкость памяти и фантазии, позволяющие в одинаковой степени заглянуть во все три измерения времени, вместо единства места — сосредоточенность всего происходящего в судьбе одного человека, вместо единства действия — целеустремленность и настойчивость работы сознания действующего лица...

Вот какие метаморфозы происходят в советском романе. Они придают произведению не только емкость и лаконичность, но эпичность и масштабность. Однако лаконичность мы иной раз принимаем за локализацию, малогеройность — за камерность. При этом не замечаем бесспорного расширения смыслового простора, благодаря которому духовная жизнь одного героя может служить ключом к раскрытию сегодняшнего состояния всего мира, а его судьба — к постижению истории его народа, а то и всего человечества. Именно этим, а не тоской по авторскому вымыслу, как здесь ска-

зал Сергей Чупринин, вызваны элементы мифа, фантастики, притчи и т. д. в ряде романов последних лет.

Наши лучшие сегодняшние романы эпичны и масштабны не за счет многоплановости и многопроблемности, а за счет личностной масштабности своих героев, которая не всегда определяется тем, чего он достиг, а чаще всего тем, что он преодолел за свою «романную жизнь». Все же, что происходит с человеком, не всегда локально и интимно.

Значительность личности сегодня определяется ее жизненной позицией, тем, насколько значительна проблема, которой она живет. Автоматизм существования — вот против чего восстает роман. Эта тема стала преобладающей не только в современных, но и в исторических романах наших дней. Не потребностью этнического самопознания, а глубокой заинтересованностью наших современников в постижении решающей роли личностного самосознания и социальной инициативы человека в исторических процессах рождены исторические полотна Ю. Балтушиса, П. Загребельного, А. Нурпеисова, Ч. Амирэджиби, Г. Абашидзе, О. Чиладзе, А. Якубова и многих других наших мастеров.

О том же самом и роман «Буранный полустанок» Ч. Айтматова. Хоронят человека. Этот сугубо «земной материал» приобретает в романе поистине космический масштаб. Мне знакома эта вставная новелла о манкуртах. В 1969 году журнал «Дружба народов» опубликовал мою повесть «Баллада забытых лет», где данная легенда составляет один из центральных эпизодов. Мотив покушения на чужую память мною был использован как крайнее выражение насилия. Айтматов, как подобает Айтматову, пошел еще дальше. Не ограничиваясь осуждением насилия, он разоблачает и его порождение — рабство.

Высокая материя, от которой когда-то «болела голова» у датского принца, русского графа или же французского философа-энциклопедиста, ныне стала содержанием активных духовных поисков не только столичного именитого художника, но и простой крестьянки из сибирской глуши, рабочего с маленького степного разъезда.

Вот в чем видят ныне романисты высокий гуманистический смысл социального творчества нашего общества.

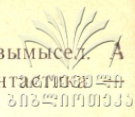
ДЕЙСТВЕННОСТЬ — ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИЛА РОМАНА

Со многим из того, что говорил С. Чупринин, я не согласен в принципиальном плане, и даже с самим употреблением терминов, в частности синтетического романа. Я думаю, что тот роман, который напрашивается как бы на это звание синтетического, это заведомо посредственный роман. А что касается, допустим, произведений В. Белова, В. Астафьева, С. Залыгина, о которых здесь говорилось, то в них я не вижу ничего «синтетического».

Что значит синтетический? Соединение самых разных пластов или действие, идущее, допустим, в каких-то разных планах. Чупринин как бы сам себя и опроверг, сказав, что фантастика в романе Ч. Айтматова самым решительным образом уступает основному действию произведения. Я с ним совершенно согласен в данном случае. И это как раз и говорит о том, что стремление к синтетизму, когда оно так открыто выступает, говорит об определенной творческой неудаче. Я с великим наслаждением читал основные главы романа Чингиза Айтматова, но именно стремление к синтетизму и привело его к каким-то издержкам.

Второе. Чупринин здесь процитировал строку Пушкина. Лучше было цитировать две строки: «Порой опять гармонией упыюсь, над вымыслом слезами обольюсь». Пушкин, который всегда был удивительно точен, сказал о двух самых существенных, по крайней мере в его представлении, сторонах искусства: гармония и вымысел. Но абсолютно ясно, что Пушкин совершенно не имел в виду какой-либо фантастики. Вымыслом для него были Татьяна, Онегин, Ленский. Вымыслом для него была «Капитанская дочка». Вот что такое вымысел. То есть творческое созидание художественной действительности.

Здесь говорилось, что цикл из пяти повестей «Царь-рыба» В. Астафьева — произведение крайней достоверности. Это замечательная победа писателя. Потому что, конечно же, его произведение все переполнено вымыслом и даже фантастикой. И само это центральное сражение с рыбой, такое глобальное, символизирующее столкновение Человека и Природы с большой буквы, и, скажем, уже совершенно фантастическая ситуация с этой тунгуской, которая влечет за собой героев, это уже почти мифотворчество, мифологическое действие. Победа замечательного художника заключается в том, что искусственному критику кажется, будто все это со-



вершено достоверно. Именно таким и должен быть вымысел. А когда мы ясно чувствуем, что это вымысел, что это фантастика, значит, перед нами не подлинное искусство.

Я думаю, что действительно вымысел в этом классическом понимании слова, пожалуй, главная задача, стоящая сейчас перед нашим романом. И даже нахожу, что Виктору Астафьеву, художнику, перед которым я преклоняюсь, не хватило как раз такого целостного вымысла, чтобы написать не пять повестей, переликающихся друг с другом, конечно, не по законам синтетизма, а единый роман.

Мне представляется, что в нашей литературе последних лет не было произведения более творчески решившего эту проблему, чем роман Ч. Амирэджиби «Дата Туташхиа». Подлинная творческая смелость художника заключалась в том, что он положил в основу своего произведения, если хотите, приключенческий сюжет. Я думаю, что своего рода кризис романа, который начался довольно давно, выразился, в частности, в том, что писатели начали отказываться от приключенческой стороны. В данном случае речь идет о его заостренной действительности. Сейчас, наверное, уже никто не замечает, хотя многие из здесь присутствующих в то или иное время своей жизни штудировали эстетику Гегеля, что он выдвигает, как одно из основных понятий теории романа, понятие приключенчества, что именно стихия приключенчества, которую он рассматривает как одну из важнейших эстетических стихий, определяет как бы суть романа. Я готов доказать, что все романы Достоевского и Толстого и, конечно, «Тихий Дон», а также «Мастер и Маргарита» наполнены этой стихией приключенчества.

Без этого роман невозможен. Но я бы сказал, что сейчас нужна подлинная творческая смелость, чтобы, задумав роман, в котором, разумеется, есть глубокое и широкое философское содержание, все же исходить из приключенческого вымысла, ставить его в самую основу своего произведения. Вот это-то и есть настоящее творческое решение.

А. Кекильбаев справедливо считает, что роман должен жить не фантастикой, а масштабностью личности. Он должен преодолевать автоматизм существования. Но его можно преодолеть созданием напряженного острого действия.

Эта стихия приключенчества ушла в какое-то время из большого романа в «низовую» литературу, если хотите, в массовую культуру. И там она, конечно, никогда не поднимается до того уровня, когда в действиях героя воплощается глубочайший смысл человека и мира. Именно в этом задача. Я восхищаюсь творческой смелостью Ч. Амирэджиби, который поставил в центр рома-

на фигуру абага и вернул тем самым роману его исконное направление.

С. Чупринин говорил здесь о провинциализме, под которым им понимается как раз отвращение от синтетизма, интеллектуализма и т. д. Я считаю, что всякого рода искусственное стремление к синтетичности и к интеллектуальности и есть в наше время самый доподлинный провинциализм. Отрицание его — когда человек берет какую-то, уходящую в глубины своего народа, эстетику, что и сделано в романе Ч. Амирэджиби, и кладет ее в основу. Он идет в глубину ее, добивается общечеловеческой высоты.

С глубоким сожалением я должен признать, что в современной русской романистике есть очевидная недостаточность действия. Вот превосходный по многим своим качествам роман Сергея Залыгина «Комиссия». В нем предстают несколько совершенно поразительно очерченных характеров. Но они как бы расставлены на каком-то поле боя, по-настоящему не действуют. И писатель в конце, как бы жестом рассерженного шахматиста, сбрасывает с доски все эти персонажи, когда приходит врангелевский отряд. Наверное, это очень ослабило роман, хотя это был удивительный замысел в целом. Причем я с наслаждением прочитал роман и знаю, что многие его прочтут так же, но мне в нем не хватает как раз напряженного и цельного действия.

Или другой пример. Прекрасный исторический романист Дмитрий Балашов. Три его романа, которые он называет в общем «Государь Московские», на мой взгляд, принадлежат к лучшему, что создано русской исторической романистикой за всю историю ее. Но опять-таки в них не хватает действия. Причем поразительная вещь: в прежних исторических романах, в которых выводились вымышленные герои, именно они были наиболее действующими, а исторические лица как бы лишь оттеняли роман. Здесь обратная картина. Дмитрию Балашову удалось показать Ивана Калиту, Александра Невского, митрополита Алексея и других крупнейших исторических лиц того периода в очень остром действии, в очень острых столкновениях. И это-то читается с захватывающим интересом. А вымышленные герои почему-то только рефлексируют, что, если угодно, даже исторически неправдоподобно. Можно привести много таких примеров. И я думаю, что проблема действия — чрезвычайно сложная проблема, потому что автоматизм существования — это действительно реальная проблема и, чтобы его преодолеть, надо найти в реальной жизни крупницы действительности, которые в ней все-таки есть, и превратить их в целостное действие.

РОМАН — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН

Каждый роман—прежде всего национальное явление. В нем отражаются и проблемы, стоящие перед народом, и национальная психика, и интеллектуальное состояние нации. В связи с этим остро стоит вопрос национальной формы романа.

Безусловно, в ней происходят заметные изменения, она становится более объемлющей. Проблема национальной формы — сейчас это проблема не только языка или конкретного материала, на котором строится роман, но и единства идеала и цели нашего общества. Сегодня мы больше чем когда-либо находим в русском, украинском, литовском, грузинском и других романах мотивы и точки соприкосновения, которые роднят их. И тем не менее роман остается прежде всего национальным феноменом. И образ мышления, и фактура, и окружающая среда — все это в нем, безусловно, национальное.

Диалектика процесса взаимодействия наших литератур в том и состоит, что не только не приводит к нивелированию, обезличению, потере корней и традиций национального романа, а наоборот, углубляет, обогащает, расширяет и национальную тематику, и компоненты национальной формы романа. Типичным примером вышесказанного я считаю «Дата Туташхиа» Ч. Амирэджиби. Как глубоко национальна его тематика, интересы, концепции, корни, хотя по своей проблематике, по своим рамкам и идейной направленности он тесно смыкается с романами других национальных литератур.

В этой связи возникают весьма интересные проблемы, с разработкой которых медлят наши литературоведы. Возьмем хотя бы вопрос изображения в национальном романе жизни других народов, что стало так характерно для советских литератур. Богатые традиции, заложенные еще великими классиками XIX века, приобрели в процессе развития совершенно новое качество. Если соприкосновение с жизнью другой нации являлось для классиков, в основном, открытием совершенно нового мира, нового жизненного материала, нового психического склада, чужого быта, то такой материал советскими романистами наших дней осознается и осваивается как близкий их сердцу, знакомый им быт...

Здесь совершенно справедливо отмечалось, что советский роман последних лет претерпевает заметные изменения как в сфере про-

Блематики, трактовки образов, так и в жанровом отношении. В этой связи меня интересуют два вопроса.

Первое. Это проблема внутренней модернизации, что ли, романа, когда вследствие тревоги современного человека за судьбы человечества и цивилизации роман становится психологически более напряженным, остропроблемным, до предела накаленным и философски-аналитическим. Отсюда подчеркнута заостренные диалоги и внутренние монологи, новый сплав рассудительности и эмоциональности героев, крайний драматизм и политическая острота романов Ю. Бондарева, А. Чаковского, Н. Думбадзе, К. Лордкипанидзе, М. Слущикса, Г. Панджикидзе и других.

Второе. Это проблема жанра микроромана, который, на мой взгляд, сегодня является самым распространенным. И это тоже определено условиями жизни сегодняшнего мира. Предельный лаконизм речи и рисунка, изобилие подтекстов, продиктованные ограниченностью во времени, давлением потока информации на психику, породили форму микроромана. Типичными микророманами я назвал бы романы Н. Думбадзе, Г. Панджикидзе, А. Сулакаури, Г. Гегешидзе, Т. Чиладзе, О. Иоселиани и других («Солнечная ночь», «Седьмое небо», «Лука», «Грешник», «Бассейн», «Звездопад»). Для этих романов характерна новая организация сюжета и композиции, обусловленная своеобразием принципов художественного видения и раскрытия предмета. Весьма примечательными кажутся мне слова Ю. Трифонова: «Я назвал эту вещь («Старик») романом, хотя она небольшая по размеру». «Самоучастие», «присутствие» автора характерно для таких романов так же, как обостренное чувство современности.

Мы должны констатировать также факт нового подъема исторического романа. И здесь я ограничусь фактами из грузинской исторической романистики, практика которой кажется мне характерной вообще для советского исторического романа сегодня, но современный грузинский исторический роман я все же выделил бы как особый поток. В таких популярных романах, как «Цотне или падение и возвышение грузин» Г. Абашидзе и «Тяжелый крест» Р. Джапаридзе, намечается перспективная тенденция пересмотра традиционной трактовки исторических фактов и подхода к историческим личностям. В отличие от традиционного советского исторического романа, скажем, А. Толстого, В. Шишкова, М. Джавахишвили или же К. Гамсахурдиа, современными романистами на первый план выдвигаются моральные ценности эпохи и феномен личности рассматривается сквозь призму нравственности.

И, наконец, о мифе в советском романе. Мне кажется неправомерным говорить о мифотворчестве или о возрождении мифа в

современном романе. Как известно, мифы — продукт определенного периода человеческого мышления. Это — давно пройденный этап осмысления человеком явлений жизни и природы, и возвращение к нему уже немислимо. Речь может идти, скорее всего, о переосмыслении, модернизации мифологических моделей, их «приземлении», подчинении жгучим проблемам современной действительности. Практика Т. Манна, Маркеса, Булгакова, а также накопленный современной грузинской романистикой опыт («Шел по дороге человек» О. Чиладзе, «Дата Туташхиа» Ч. Амиргджиби, «Тутарчела» Н. Цулейскири, романы Г. Дочанашвили, Т. Бибилури и других) именно таким образом и аккумулируют окаменевшие в веках мифологические схемы, придавая им новую функцию в решении современных проблем гуманизма и нравственности, человечности и доброты. Это, как и введение элемента фантастики в советский реалистический роман, расширяет рамки и обогащает изобразительные возможности нашего романа. Только, пожалуй, особенно увлекаться этим все же не следует.

Исмаил ШИХЛЫ,
прозаик (Баку)

СОВРЕМЕННОСТЬ И НАРОДНОСТЬ

Как бывший фронтовик, начну с военной темы. Только ли о войне идет речь в романах, посвященных ей? На этот вопрос в свое время классически ответил Лев Толстой «Войной и миром». Вообще в подлинном произведении искусства всегда есть некая эстетическая, духовная «радиация», выходящая далеко за пределы описываемых конкретных действительности и времени. Это выход к общечеловеческому, общенсторическому. Но всем ясно, что осмысление военной темы обретает другие акценты. Одно дело — писать о войне по горячим следам событий, другое — оглянуться на это великое испытание с исторической дистанции. Освоение темы идет «вширь» и «вглубь». Эту мысль подтверждает весь ход развития нашей прозы, независимо от жанра; вспомним произведения К. Симонова, В. Быкова, Ю. Бондарева, А. Чаковского, Г. Бакланова, В. Богомолова, А. Ананьева...

Еще раньше были «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Судьба человека» М. Шолохова, «Знаменосцы» О. Гончара, «Бастионы дружбы» Абулгасана...

С годами мы стали внимательнее вглядываться в человека, не только в героев, но и антигероев. «Берег» — не только о пре-

красном воине Княжко, но и о подлеце Мезенцове. «Сотников» — не только о несокрушимой нравственной силе Сотникова, но и о беспощадно точно прослеженной истории падения Рыбака. (Я сознательно выхожу за пределы жанра). Падение — это ведь тоже нравственный урок, убеждающий жестокой логикой позора, за которым следует неизбежное возмездие. Об этом говорят и В. Быков, и В. Распутин в «Живи и помни», и Ю. Бондарев в «Выборе»... К этому же мотиву возвращается Нодар Думбадзе в своем ярком философском романе «Закон вечности».

Теперь о другом симптоматичном качестве — обращении к фольклорной поэтике, фантастическим средствам. Недавно в «Литературной газете» я прочел характерное признание Габриэля Гарсиа Маркеса: «Не было в моей жизни ничего более удивительного, чем здешняя действительность, — пишет он. — ...Самое большее, что мне удалось, — это показать ее с помощью поэтических средств, но нет в моих книгах ни одной строчки, в основе которой не лежал бы подлинный факт».

Это высказывание колумбийского писателя еще раз подтверждает ту истину, что подлинное искусство всегда отталкивается от реальности, питается жизнью. Вопрос в том, насколько оно, преломляя реальность, остается верным ее глубинной сути. Другими словами, насколько правдиво художник «выдумывает правду».

Сошлюсь на опыт азербайджанской прозы. Фольклорное начало мы видим в романах таких разных писателей, как маститый Сулейман Рагимов (эпопея «Кавказская орлица»), Ильяс Эфендиев («Повесть о Сарыкейнек и Валехе»), наконец, в романе молодого Мовлуда Сулейманлы «Кочевье». Соотношение фольклорного и литературного в каждом из них различно. Роман Мовлуда Сулейманлы — по структуре, мифологической образности, гиперболизации качеств персонажей, по языку очень близок к нашим дастанам. Через отдельные судьбы, смещение больших временных пластов перед нами предстает история перехода кочевого рода к оседлому образу жизни. Род «Каракелле» возвращается на прежнюю стоянку, где обитает уже другое племя, — вспыхивает вражда, длящаяся веками. Интересно, что предание о подобной стычке есть и в «Комиссии» Сергея Залыгина.

Я неожиданно для себя увидел косвенную связь этого подтекста романа нашего молодого автора с сокровенными размышлениями С. Залыгина в «Комиссии», где раскрывается обусловленность психологии русского крестьянства исконным, коренным трудом.

Возвращаясь к фольклорному началу в романе, назову и такой яркий образец, как «Дата Тугашхиа» Ч. Амирэджиби. Дело

не только в поэтизации главного героя. Связь с фольклором, думается, здесь глубже — в обращении к многовековой народной этике, национальному нравственному опыту. Поскольку я затронул вопрос о народном нравственном кодексе, отмечу и другое: его преломление на материале жизни послевоенного азербайджанского села. Напомню такой известный роман, как «Слияние вод» Мирзы Ибрагимова, конфликт между старым Рустамом Киши и его снохой агрономом Майей. При всех недостатках первого как руководителя колхоза, его некоторой деспотичности, нетерпимости к инакомыслию, порицание им Майи, пренебрегающей обычаями, нормами традиционной этики, не может не вызвать сочувствия. Рустам Киши по-своему прав. Мирза Ибрагимов по-новому трактует здесь конфликт между «отцами и детьми».

История — древняя, революционная — продолжает привлекать внимание романистов. Конечно, это не самоцель, не погоня за экзотическим сюжетом. В основе этого интереса — все тот же нравственный, социальный урок, необходимый духовному формированию современной личности.

В центре романа «Когда молчит совесть» Видади Бабанлы — конфликт двух ученых, искателя и приспособленца. Копья ломаются вскруг идеи о новом горючем, менее вредном для окружающей среды, — отсюда выход от локального уровня на уровень остросовременной, гражданской, глобальной задачи. И за всем этим, неразрывно с этим — вопрос о нравственности науки.

У Мехти Гусейна, автора широко известных романов о нефтяниках «Апшерон», «Подземные реки текут в море», есть рассказ «Соперники». Два нефтяника — оба пробурили такое-то количество метров, оба достигли равно высоких показателей. Один — отмечен наградами, в чести и почете, а другой остался в тени, незамеченным. Справедливо это? Конечно, нет. А как изжить такие, увы, не единичные случаи? Ответить непросто. Эта проблема существует, и литература не может пройти мимо нее. В том числе и современный роман.

Витаутас МАРТИНКУС,
прозаик (Каунас)

ФИЛОСОФИЯ, НО НЕ МОДА

На вопрос о том, возросла ли философичность нашей современной прозы, известный белорусский прозаик А. Адамович ответил вот что: «Во всяком случае потребность в этом сильнейшая». Встречается, конечно, и дань моде, философия в кавычках.

каж, диктуемая претензией, а не самой жизнью. Но если говорить о той, что возникает из самой жизни, из ощущения, что сегодня как никогда связано со всем и все зависит от всех, философия, действительно не осталось больше в нашей прозе. Слишком серьезные и неотложные проблемы встали перед всеми людьми, чтобы удовлетвориться мыслительным потенциалом современной литературы, нашей и не нашей. Достоевский интуитивно поднимался до космической философии с квадрильонами лет и топором, летающим в виде спутника, и это в самый обыкновенный в смысле технических достижений век. А мы в век космический все еще очень часто мыслим категориями допотопными, по крайней мере доатомными.

Такая постановка вопроса вызвала у меня некоторые соображения. Если сослаться на опыт нашей литовской романистики, то всем известно, что расцвет нового литовского романа начался в шестидесятых годах с так называемого «внутреннего монолога», который, по-моему, был натуральным продолжением старой лирической тенденции в нашей прозе. Лиричность — это древняя, традиционная черта наша, нашей литовской прозы. И в лирике, думается, тоже заключен заряд глубинной мысли, философии как таковой. Но сегодня «внутренний монолог» уже стал таким обыкновенным, я бы сказал, инструментом нашего писательского мастерства, что потребовались поиски новых форм, чтобы достичь именно этой философской глубины.

В самых последних наших литовских романах И. Авижюса, В. Петкявичюса и других, как известно, появились очень остро поставленные социальные вопросы, поставленные, если можно так выразиться, публицистически. Я знаю, что, например, эстонский роман тоже стал таким публицистическим. В таких произведениях, как роман Петкявичюса «Группа товарищей» или Авижюса «Хамелеоновы цвета» и других, есть целый ряд вопросов, которые действительно актуальны для сегодняшнего читателя. Они глубоко волнуют всех.

Стилистика авторов новых наших романов стала более афористическая, мыслью насыщен диалог. Даже каждая отдельная фраза глубоко философична. Особенно если говорить о романе «Группа товарищей». Но все-таки, на мой взгляд, хотя этот путь тоже что-то дает нашей романистике, он не может привести нас к настоящей глубине философской мысли. Такой путь сам по себе, я думаю, не дает оснований для настоящей философской глубины романа. Мне кажется, тут прав наш известный литературный критик А. Бучис, который в ходе обсуждения литовского романа отметил, что нашему роману все-таки не хватает какого-

то исторического мышления, исторической памяти. Может быть, критик и прав, хотя бы в том смысле, что до сих пор у нас мало исторических романов. Я полагаю, что главная причина в этом. Например, роман здесь присутствующего М. Слущикса «На исходе дня» или новый роман уже упомянутого мной критика А. Бучиса, который только печатается в периодике у нас и называется «Я враг твоему врагу», построены на остром, актуальном сегодняшнем материале и вместе с тем в них чувствуется интеллектуальность, глубинное философское мышление. Авторы их не останавливаются только на том, что знают, как говорил Адамович, что мир сложен, что все связано между собой и развивается. Надо твердо исходить из такой предпосылки, но нужно и идти к анализу. Вот, по-моему, в романах, о которых я говорил как о наиболее удачных в этом смысле, и есть этот анализ, интеллектуальный анализ, ведущий к глубинным слоям.

И второе условие или исходная точка, которая ведет к более глубинным философским пластам, по моему убеждению, интенсивность духовной жизни как персонажей, так и самого автора.

И в этом смысле я не совсем согласен с В. Кожинным, когда он говорит, что успех «Даты Туташиа» находится как бы в зависимости от того, что мы возвращаемся к приключенческим структурам романа. Если его анализировать в этом старинном приключенческом плане, так он даже статически не соответствует его канонам, потому что там множество отступлений от главного действия. А вся привлекательность романа заключается именно в этой духовной интенсивности как самого рассказчика, так и двух главных героев.

Очевидно, недостаточность действия, о которой здесь было сказано, не является только сюжетной статичностью. Когда мы говорим о жизни наших персонажей во времени, о том, как они распоряжаются этим своим временем, тогда мы и подходим к действительным движениям мысли и самой действительности.

Пирмат ШЕРМУХАМЕДОВ,
литературовед (Ташкент)

ЕДИНАЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ

Современный роман, чтобы жить, должен продолжать традицию А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, традицию серьезного исследования жизни, традицию гуманизма. В народе верно говорят: лучше плохая дорога, чем плохой спутник. Дей-

ствительно, роман — не сумма приемов. Настоящий роман — это страстная борьба за это.

Мне кажется, успехи и недостатки современных романов нужно рассматривать прежде всего именно в этом, человеческом и человеческом аспекте.

В состоянии современного романа меня, например, интересуют и волнуют три момента.

Первое — это романное мышление. В конце 60-х и в начале 70-х годов оно было ослаблено. Сузились социально-философские масштабы романа. Хотя и тогда были написаны интересные романы, например, В. Белова, Н. Думбадзе, А. Якубова, А. Нурпеисова, А. Кекильбаева, Г. Панджикидзе, Т. Каипбергенова. Здесь уместно вспомнить статью Е. Сидорова о прозе 70-х годов, где он остро ставит вопрос об ослаблении романного мышления.

Что значит романное мышление? Это не просто эпическое начало, порой равнозначное на практике «эпическому спокойствию», а выстраданное слово художника о меняющемся мире и о человеке. То есть с первых страниц должны проявляться могучая рука художника и могучий разум мыслителя.

Но вот в середине 70-х годов появились «Совесть» А. Якубова, «Белые флаги» Н. Думбадзе, «Берег» Ю. Бондарева, «Как будто в бурях есть покой» А. Мухтара...

В этих и других романах, как верно заметил Ю. Бондарев, ясно видны «осмысление трагизма XX века и возможность надежды — два качества серьезного таланта».

В конце 70-х и в начале 80-х годов мы наблюдаем дальнейшее усиление этой тенденции: «Выбор» Ю. Бондарева, «И дольше века длится день» Ч. Айтматова, «Закон вечности» Н. Думбадзе, «Картина» Д. Гранина. Подобные произведения своим существованием опровергают и бескрылый ремесленный беллетризм, и эксперимент ради эксперимента.

Здесь мне хотелось бы остановиться несколько подробнее на современном романе Средней Азии и Казахстана, рассмотреть, как общие веяния воплощаются у нас.

В последнее время в литературах нашего региона усложнились жанрово-стилистические структуры романа. Например, появились роман-диалог, роман-портрет, роман-хроника, роман-размышление, роман раздумий, мифологический роман... Порой наблюдается и синтез этих черт в едином произведении. Вот, скажем, в романе «Новруз» Н. Сафарова. Но определение «синтез», взятое сейчас на вооружение критикой, годится, конечно,

для лучших образцов: в большинстве случаев пока вернее будет говорить о гибридации...

Мне кажется, у нас, в литературах Средней Азии и Казахстана, зрелое романное мышление пока более глубоко проявилось в исторических романах. И, как всегда, по-моему, это связано с масштабом концепции, с широтой и гуманизмом социально-исторического мышления писателя.

Большинство наших исторических романистов разнообразно и верно освещают проблему взаимоотношений народов и государств в прошлом. Так, Г. Абашидзе в своем романе «Долгая ночь» честно обрисовывает образ Желаладдина. Однако обратная тенденция, к сожалению, иногда ощущается в отдельных романах, сужая, искажая проблему.

Вот исторический роман И. Есенберлина «Хан Кене». Есть в нем один эпизод, где два-три торгошаша-узбека обманывают на базаре кочевника-казаха. Но опять-таки нет в этом народной вины, труженики всех наших народов страдали в прошлом одинаково.

Да, в людях и событиях далеких эпох мы ищем созвучное нашему сегодняшнему дню. Именно эти тенденции были более глубоко проявлены в «Сокровище Улугбека», в «Ночных звездах» П. Кадырова, «Бессмертных горах» М. Махмудова, «Дата Туташхна» Ч. Амирэджиби, «Непонятных» Т. Каипбергенова.

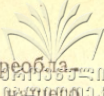
Именно здесь перейду ко второму вопросу — о рациональности мысли и эмоциональном начале. Потому что они взаимосвязаны. «Современный роман философствует, — отмечает Ю. Суровцев, — наш сегодняшний роман — особенно остро и напряженно».

На мой взгляд, Ю. Суровцев верно подметил особенности современных романов. В углублении эпичности, интеллектуальности, духовности я вижу новизну современного романа.

Однакостораживает один негативный факт: во многих современных романах рациональность переходит в рационализм; я сказал бы, рассудочность порой отодвигает эмоциональность на второй план.

Прав А. Овчаренко, говоря, что даже в романах П. Загребельного «ум, рациональность порой теснят эмоциональное начало». Есть тут и другая опасность. Я хотел бы добавить, что даже в очень интересном романе Ю. Бондарева «диалогизация», философские рассуждения о бытии человека несколько преобладают над реалистическим изображением.

В отдельных случаях даже внутренние монологи в романах литератур Прибалтики не дают желаемых эстетических резуль-



татов (романы Э. Ветемаа). Потому что рассудочность преобладает, эмоциональность ослабевает. Даже для художников своего региона, где в самом национальном духе заложена страстность, это тоже характерно сейчас. А ведь из-за этого где-то теряется сам предмет, объект искусства — живой человек, не только мысли его, но и переживания в их связи.

Третий вопрос — это герой романа. Почему-то в последнее время о нем очень мало говорится. А ведь это основа основ! Наши романисты в последнее десятилетие больше увлеклись людьми «на виду», а простые люди, на которых, как говорится, «земля держится», как-то стали выпадать из поля зрения. А ведь демократизм — пожалуй, главная черта нашего общества, той же великой русской классики, пример которой маняще неисчерпаем. (Вспомним здесь прекрасные повести Ч. Айтматова, В. Быкова, Г. Матевосяна, где были созданы яркие образы наших современников).

Во-первых, известно, что масштаб концепции писателя определяется по уровню героя.

А во-вторых, о народном начале, о человеке забываем порой потому, что слишком много занимаемся формами романа, той же «модой» «беллетризованной фантастики, приспособленной к современности» (Н. Иванова).

Наши романы, думается, пострадали оттого, что нравственная высота, цельность, душевность героя понизились. Герои совершают большие дела — но все равно они порой остаются маленькими людьми. Не в жизни, конечно, в литературе. Мы часто забываем «укрупнить» героя, его духовный мир, его любовь и ненависть. Между тем у нас есть и остаются высокие ориентиры, современные образцы подлинного романа («И дольше века длится день» Ч. Айтматова, «Выбор» Ю. Бондарева, «Закон вечности» Н. Думбадзе).

Нашим романистам есть что и как сказать уму и сердцу современника, человечеству.

Владимир КРУПИН,
прозаик (Москва)

МЫ УЧИМСЯ ДРУГ У ДРУГА

Почему иные писатели того поколения, которое условно называют поколением сорокалетних, Отар Чиладзе, скажем, гораздо сильнее как романист своих русских коллег? Почему, например, так скучно читать иные их романы, почему так получа-

ется, что они уже уходят как-то в этнографию, в историю, тогда как они могли бы служить для решения общечеловеческих, общенациональных проблем? Все дело в том, что они не национальны. Роман существует только тогда, когда он национален. И вот эта формула — чем национальнее, тем интернациональнее, — блестяще подтверждается в последнее десятилетие.

Почему мне интересно читать русского прозаика Андрея Битова, когда он пишет, скажем, «Колесо», «Уроки Армении», «Азарт»? Не только оттого, что я узнаю, что «Колесо» — это Башкирия, «Азарт» — Средняя Азия, «Уроки Армении» — Закавказье, мне еще интересно, что он исследует русский национальный характер в условиях другой национальности.

Так же интересно мне с давних пор читать и следить за Нодаром Думбадзе. Мы видим, как на наших глазах прозаик становится как бы печальнее, умудреннее. Скажем, если смех пронизывал «Бабушку, Илико и Иллариона», то все далее и далее — «Закон вечности» и другие вещи уже написаны умудренным человеком. И он все время национален. Даже последний прекрасный вечер на телевидении, когда Нодар Владимирович тоже говорил о нравственной чистоте своей нации, подтверждает: это грузинский писатель. Василь Быков, выступая где угодно, говорит прежде всего о трагедии белорусов в годы войны.

Мы учимся друг у друга. Раз уж я упомянул Василя Владимировича, скажу, чему я учусь у него как у романиста. Как пишущий человек, не могу понять, например, как сделана вещь «Дожить до рассвета». Она насквозь белорусская: вот ласковые слова о реке, о девушке в эту предвоенную ночь. Это первый план. Второй план, когда взвод идет взрывать вражеский склад. И третий план, когда главный герой вспоминает о недавнем выходе из окружения. И вот, несмотря на такие многостраничные отступления, все время ощущаешь, как взвод ползет. Я не знаю, как это сделано, но сделано это потрясающе сильно. Вот как, с какой огромной сложностью прозаик вдруг вводит до самой последней страницы все новых и новых героев.

Многие беды теперешней прозы происходят отрыва от национальных истоков. Мне тоже не очень понравилась фантастическая часть в романе Айтматова «И дольше века длится день». Потому что и фантастика, видимо, должна быть в какой-то мере национальна. Это же можно было прочесть у любого писателя.

Я теперь перевожу для «Нового мира» роман алтайского прозаика и поэта Бориса Укачина «Убить бы мне голод» — об алтайской деревне во время войны. По приему роман немножко

напоминает «Закон вечности» — здесь тоже человек в больной палате, после тяжелого сердечного заболевания, но все время прорывается пронзительная забота о своем народе, остро чувство ответственности за его судьбу.

Если бы, допустим, не было географических примет в романе Ф. Абрамова «Дом», в «Комиссии» В. Астафьева, в «Прощании с Матерой» В. Распутина, трудно было бы, пожалуй, понять, о чем идет речь. Географические приметы и проблемы только и держат их.

Критики охотно цитируют фразу Л. Толстого о том, что в романе «Анна Каренина» он любил мысль семейную, а в романе «Война и мир» — мысль народную. Дальше эта цитата так продолжается: в новом романе, который явится делом всей моей жизни, я буду любить мысль истинно русскую.

На VII совещании молодых писателей я был одним из руководителей семинара. Там были писатели из Средней Азии, из Прибалтики. И все они, как говорится, «пишут проблему». Ее не умеет писать только ленивый. Уже умеют писать ситуацию, характер. Но надо учиться писать национальный характер.

Говорить о том, что советский роман делится на роман-хронику, роман-портрет и т. д. — это, может быть, удобно критике, но это все-таки одна из уловок, одна из хитростей, потому что так делить роман нельзя; как только роман становится назидательным, он делается очень скучным.

Я говорю о своем поколении. У нас современные люди моего возраста, так называемые сорокалетние, к сожалению, уроков предыдущих поколений, в том числе тех писателей, кого мы много раз называли, не усвоили.

Мы отмечали год Достоевского, который достигал космических высот и глубин. Он был непрерывным исследователем русского характера, причем в сложную и противоречивую эпоху. Это эпоха послереформенная, когда, как написал один грузинский романист, в Зимнем топтали по паркету, и это отозвалось по всей стране.

О языке. Язык — национальное достояние, главное богатство. У нас, например, я знаю свое Нечерноземье, где в языке народа, к великой печали, произошли даже необратимые перемены. Язык огрубляется, вырабатываются больше знаки для общения, нежели глубинные его качества. И писатель не имеет права не думать, не заботиться, не болеть об этом, выражая думы, заботы и боль своего народа.

ВРАЗУМЛЯТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ

Мы живем — это нам всем известно — в очень сложное время. Время тяжелых перемен, подчас ожесточенной борьбы. Человечество борется за лучшее будущее. Человечество борется за то будущее, когда нас на свете будет 20 миллиардов. Это тяжелая борьба. Никогда человеческое общество не существовало вне противоречий. Но наша эпоха переполнена ими: как внутри государства, так и в отношениях с остальным миром. Дело в том, что сейчас перед нами, писателями, я считаю, стоит самая громадная задача, которая когда-либо стояла перед литературой, потому что мы живем в эпоху переломов. Чем должен отличаться роман наш, советский, от романа вообще? Он должен вразумлять. Мы должны своими средствами, своими возможностями сказать всему человечеству, что мы пришли в этот мир для того, чтобы жить. А если умирать, то умирать за правду, за человечность, за гуманность.

Я очень внимательно слушал выступления С. Чупринина и В. Кожинова и не сказал бы, чтобы кто-то из них в этом диалоге победил. Чтобы сказать правду, надо говорить о том, что ты знаешь. Отар Чиладзе замечательно знает психологию своего народа. Он наделен громадным талантом писателя и, когда пишет, знает, о чем пишет, и пишет настолько хорошо, благодаря своему таланту, что возводит написанное в ранг общечеловеческого достоинства и общечеловеческого внимания. То же самое раньше сделали Василь Быков, Григорий Бакланов, Андрей Битов и многие наши писатели.

Надо, наверное, писать так, чтобы то, что ты пишешь, стало понятным каждому человеку — от полюса до полюса. Такова сегодня функция советского писателя. Сколько ни ругали бы нас, у нас есть своя цель, и мы идем по своему пути.

Интересный вопрос поставил Кожин: о приключенческой стороне романа. Наше время — это время огромного потока информации. И мы, писатели, должны воздействовать на нашего читателя, завоевать его, заставить читать наши книги. А как это сделать? Только через острые сюжеты.

Что же касается достоверности факта и достоверности вымысла, то, на мой взгляд, достоверность факта — принадлежность документальной прозы. Это нужный и необходимый жанр. Видимо, функция писателя заключается в гораздо большем, не-

жели просто в отображении самого больного, самого злободневного факта. Для этого существует журналистика, пусть она и занимается заботами текущего дня. Писательское искусство призвано к выдумке. Я лично преклоняюсь перед талантом Василия Быкова, захлеб читаю все, что он пишет. В нем меня удивляет и поражает именно этот уровень выдумки, не вымысла, не анализа человеческого характера, человеческой психики, нет, именно выдумки. Как можно трех героев расставить так, чтобы между ними родилась великая выдумка? И эту задачу надо каждый раз решать с таким огромным мастерством, как это делает В. Быков, и не только он. К счастью нашему, так делают и Григорий Бакланов, и Нодар Думбадзе, и Отар Чиладзе, и Павло Загребельный. Я думаю, что будущее писательского искусства именно в выдумке.

Чего, как мне кажется, в нашей прозе и нашей романистике не хватает сегодня? Бережного и чуткого отношения к слову. У меня есть одна книга — перевод с арабского. Это средневековье, примерно XV—XVI век. В ней есть такие фразы: «Я забрал свою библиотеку и переправлялся из Афин в Александрию. В пути нас настигла буря. Вся моя библиотека погибла. Мне удалось спасти Аристотеля и Фирдоуси». Или: «Я был еще подростком и отец забрал нас на охоту. В зарослях зарычал лев. Отец сказал: «Сын мой, сходи в эти заросли и выгони льва». Я пошел и выгнал. И мой младший брат убил этого льва».


Мы все страдаем от многословия. Мы должны научиться говорить коротко об очень значительных вещах. К сожалению, мы иногда говорим длинно о вещах, которые давно известны и не очень значительны.

Николай ЖУЛИНСКИЙ,
критик (Киев)

КТО ДОСТИГНЕТ ЦЕЛИ!

В романе литовского писателя Витаутаса Пяткявичюса «Группа товарищей» старый подпольщик Саверас Рякштис в споре говорит: «Для нас важна не только цель, нам куда важнее, какие люди достигнут этой цели».

Думаю, что эти слова в какой-то мере определяют доминирующие идейно-проблемные настроения советской литературы, современного многонационального романа. К сожалению, нам и сегодня еще не совсем ясно, какие люди достигнут нашей цели. Не поэтому ли многие романы подвергают морально-психологи-



ским испытаниям современного человека, исследуют его и его душу, проверяют возможности человеческого бытия в мире, активно «участвуют» в сложном поединке человека со своей совестью. Мы могли убедиться, что советский роман много сделал для того, чтобы разрушить некоторые шаблоны поведения и стереотипы восприятия сущности человеческого бытия, подвергал сомнению необходимость канонизации идеалов и кумиров, которые всегда создает сам человек и пытается утвердить их в статусе абсолюта.

Пожалуй, эти проблемы морально-этического порядка не всегда выходили на передний план, особенно в украинских романах о современности. Разумеется, это замечание не касается остропроблемного романа О. Гончара «Твоя заря», в котором затрагиваются актуальные проблемы бытия современного человека в этом сложном мире. Кроме того, роман О. Гончара убедительно открывает и выражает неисчерпаемые возможности поэтических принципов синтезирования сложных явлений жизни и драматического мировосприятия современника. Присущая Гончару-художнику эстетическая система диалектически обновляется в процессе восприятия им доминирующих идей современности. И здесь особенно плодотворным было бы, на мой взгляд, сопоставление «Твоей зари» с «Выбором» Ю. Бондарева и романом Ч. Айтматова «И дольше века длится день». Особенно в плане художественного осмысления народно-исторического времени, в подходе к проблеме человеческой памяти как своеобразной социально-духовной потребности времени.

Над этой проблемой тревожно задумывается и Павло Загребельный, последовательно осмысливая ее и в исторических романах, и в романах о современности (например, в «Разгоне»). Разумеется, этими двумя известными романистами нельзя ограничиваться в разговоре о современном романе. Следует хотя бы назвать и романы В. Земляка «Лебединая стая» и «Зеленые Млины», которые существенно повлияли на современную украинскую прозу в плане жанрово-стилевого и образного обновления. В. Земляком была создана своеобразная философско-эпическая притча о сложной, невиданной в истории социально-психологической переориентации крестьянства на новые принципы и формы общественного бытия. И когда мы говорим об активном использовании современным советским романом условно-сказочных ситуаций, об аллегорическом наполнении реальных образов, о создании характеров-метафор, о двухплановом параллельном «ведении» фантастического и реалистического повествований, то необходимо к известным произведениям Ч. Айтматова, О. Чиладзе,

П. Трейниса, И. Друце, Ю. Рытхеу, Н. Думбадзе, Б. Василане приобщить аналитические повести В. Дрозда «Ирий» и «Замглаз», романы П. Загребельного «Львиное сердце», В. Яворивского «Оглянись с осени», Е. Гуцало «Муж взаймы, или Хома неверный и лукавый», «Перо Золотой птицы» С. Пушика и другие.

Полагаю, плодотворным был бы разговор о современном советском романе в сопоставлении украинского исторического романа с грузинским. Вообще, что касается исторической прозы, то именно здесь советскому многонациональному роману удалось, пожалуй, раскрыть живительную сопричастность нашей социалистической морали с общечеловеческими критериями добра, любви, сострадания, с напряженными поисками исторической истины современным человеком, который настойчиво извлекает из национальной истории уроки-подтверждения истинности и закономерности развития современной истории. И здесь я должен назвать украинские исторические романы последних лет Павла Загребельного («Епраксия» и «Роксолана»), Романа Иваньчука («Червлено вино» и «Манускрипт с улицы Русской»), Романа Федорива («Отчий светильник») и другие, поставить их в определенную идейно-смысловую сопричастность с романами К. Гамсахурдиа, Гр. Абашидзе, Р. Джапаридзе, Л. Готуа, Ч. Амиразджиби, О. Чиладзе... Для украинской исторической прозы очень характерно переосмысление, углубленное осмысление и воссоздание на новом витке исторического опыта фактов прошлого, исторической роли некоторых деятелей.

Иногда приходится говорить и о своеобразной реабилитации истории, нередко лишь иллюстрировавшей определенные политические события, «не утруждая» себя изображением всей сложности исторических событий, которые с вершин сегодняшнего дня далеко не однозначны. Поверхностно-иллюстративный подход к истории народа породил значительное количество псевдоисторических произведений, в которых создавался вокруг какого-нибудь «непогрешимого» исторического факта авантюрный сюжет, разыгрывались мелодраматичные страсти, в результате чего история предстала перед читателем в облегченном, так сказать, варианте.

Известно, что каждая новая эпоха, новое поколение стремится к «перечитыванию» своей истории, истории своего народа в проекции на проблемы своего времени, в ориентации на духовные и нравственные запросы современности, сосредоточенной, разумеется, на перспективах усовершенствования человека и мира. К сожалению, некоторые писатели активно включаются в орбиту модных сегодня «свободных» интерпретаций истории. Вме-

сто внимательного конкретно-исторического осмысления прошлого появляются нередко беллетризованные легенды, типетические сюжеты насильно накладываются на сложные, тревожно впечатлительные нервные сплетения в живом организме истории. Поэтому особого внимания заслуживает проблема исторического характера, который должен представлять во всей полноте своей народно-национальной сущности и выражать свое внутреннее содержание в конкретно-исторических обстоятельствах, в духовных поисках, в борении идей и в напряженных конфликтах эпохи.

Ведь мы более чем когда-либо чувствуем гравитацию истории, пытаемся усилить закономерное ее притяжение перед открывающейся бездной потери ее продолжения во времени. Эта бездна, словно «черная дыра», готова в любую минуту поглотить нас. И это тревожит, и это побуждает к созданию в литературе особого начала современности. Не потому ли мы оказались немножко растерянными при виде явного дефицита нравственности, оттого, что стабильность и протяженность во времени нравственных ценностей сегодня никто не может нам гарантировать.

Часты в современных романах случаи суда совести, своеобразного самосуда, воссоздание памятью событий прошлого для их нравственного осмысления. Это — «Старик» Ю. Трифонова, «Выбор» Ю. Бондарева, «Капли дождя» П. Куусберга, «Группа товарищей» В. Пятквичуса, «Вернись в дом свой» Ю. Мушкетика, «Каменное поле» Р. Федорива, «Совесть» А. Якубова и другие.

Не только роман о современности, но и роман о Великой Отечественной войне (из украинских назову «Боль и гнев» А. Димарова, «Степь» А. Сизоненко, «Земля под копытами» В. Дрозда, «Большая твердь» Г. Колисника, «Жизнь одна» и «Дней твоих немного» П. Гуриненко, «Искушение» Б. Тимошенко и другие) наполняется многообразными и множественными характеристиками, отражающими все уровни духовного и нравственного облика советского общества, все идеологические и социально-нравственные аспекты бытия советского человека в современном мире. В этой множественности индивидуальностей и многообразии проблем, несущих в себе положительные и отрицательные начала, в сложности индивидуальных воле и поступков современного человека писателю приходится постоянно задумываться над проблемой выбора героя, выявлять свою позицию в изменяющемся мире, искать и утверждать свои критерии героического, свою индивидуально-творческую концепцию человека и мира.

Окончание следует



Гурам АСАТИАНИ

НИКО ЛОРДКИПАНИДЗЕ

●
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ

Н. ЛОРДКИПАНИДЗЕ, конечно же, не был писателем-борцом, писателем-трибуном, пламенным глашатаем своих убеждений.

Все эти определения, вполне уместные и необходимые в других случаях, по другому адресу, никак не соответствуют не только внешнему облику, но и внутреннему складу его личности, более склонной к раздумчивому отношению к жизни, к сдержанному, ненастойчивому стилю самовыражения, к скромному образу жизни. Но он был на редкость стойкой личностью, человеком с незыблемыми устоями и убеждениями, с неподдающимися произвольной ревизии нравственными понятиями и всепобеждающей верой в высокое призвание человека.

И этот его стоицизм во многом превосходил внешнюю пылкость и пламенные метания как модных кумиров публики начала века, так и левацкое самозабвение незрелых провозвестников «нового искусства» в бурные годы становления советской литературы.

Никто не помнит Н. Лордkipанидзе на трибуне спорящим, доказывающим, опровергающим. Но он всю свою жизнь в литературе провел в большом споре с недругами человека, а также с его неуклюжими друзьями, способными придушить его в своих страстных объятиях, всю жизнь стоял на страже высоких идеалов человечности, денно и ночью бодрствуя во имя сохранения и развития в душе нового человека, сына новой эпохи, гражданина новой Грузии достойных времени и общества качеств.

По свидетельству близких, Н. Лордkipанидзе было присуще глубокое стремление к внутреннему равновесию, трезвый взгляд на вещи, неприязнь ко всему лжепатетическому, псевдоторжественному, бездумно-легковесному.

В этом смысле он даже заметно выделялся на фоне многих своих современников и очень мало имел общего со сложившимся представлением о «грузинском характере».

В этом смысле слова Паоло Яшвили, имеющие в виду некоторую исключительность его внешности («редкий у нас профиль»), можно распространить также на его характер и поведение.

Однако в глубине своей души этот человек был истинным сыном своего отечества, со скрытым за внешней невозмутимостью темпераментом, врожденным жизнелюбием и независимым нравом. И он же был глубоко современным, в самом серьезном смысле этого слова, открытым миру, свободным от предрассудков человеком, с широким взглядом на мир.

Ярче всего это сказалось в его творчестве...

Творчество Нико Лордкипанидзе — одно из значительнейших явлений грузинской литературы нашего столетия, предопределивших эпохальное своеобразие ее содержания и формы.

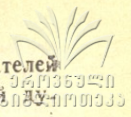
Все созданное им находится в русле многовековых национальных традиций грузинской культуры и вместе с тем каждое его произведение отмечено печатью новизны, художественного первородства.

Столь необычная структура оставленного им литературного наследия обусловлена своеобразием творческой миссии крупного, многосторонне одаренного художника, выступившего на рубеже двух литературных эпох.

С одной стороны, эта миссия заключалась в соединении векового с настоящим, в восстановлении связи времен, которая на глазах писателя рушилась с катастрофической стремительностью, с другой же, — в создании новых эстетических ценностей, удовлетворяющих требованиям и побуждениям обновляющегося общества, новой духовной жажде и культурным веяниям.

Не многим мастерам новейшей грузинской художественной прозы, стоявшим у ее истоков, удалось столь осязаемо выразить в своих творениях глубочайшие перемены в окружающей их действительности и еще больше в духовной жизни родного народа.

О чем бы ни писал Н. Лордкипанидзе — о прошлом или о настоящем, о войне или о мире, о славных подвигах рыцарей былого или о буднях прозябающих в трагическом бездействии их потомков, о деревенских простаках или о новом урбанизированном быте и психологии, главная тема его творчества — история человеческой души, воспитание чувств, внутренний, интимный мир личности, через которые раскрываются важнейшие социальные свершения и сдвиги эпохи.



Н. Лордкипанидзе — один из немногих грузинских писателей нашего столетия, которые смогли передать новый трепет этой жизни, новые оттенки чувств современного человека, новый ритм его внутренней жизни, новые коллизии его эмоционального мира.

Герои Н. Лордкипанидзе — представители самых разных слоев общества, разных времен, наделенные разнообразными чертами характера. Среди них есть и герои в собственном смысле этого слова — значительные, крупные личности с сильными страстями и несокрушимой волей, и антигерои — «маленькие», беспомощные люди, обездоленные, павшие, раздавленные, потерявшие человеческий облик; здесь и типические характеры в самых типических обстоятельствах, и резко противостоящие обществу и времени личности. Каждый из них имеет свою, собственную биографию, свою неповторимую судьбу, свой внутренний склад, единственное в своем роде призвание и такой же уникальный способ самоутверждения, но художник всюду и во всем ищет отпечатки единого, целостного народного характера, проявляющегося как в острых классовых противоречиях — в полюсах истории и сознания, так и в общенациональных, непреходящих чертах.

Поэтому лирическое повествование о душевных перипетиях отдельных лиц в творчестве Н. Лордкипанидзе в конечном счете естественно перерастает в величественную многоплановую эпическую повесть о бытии народной, национальной души.

Глубокая правдивость, присущая его художественному методу, бесстрашие убежденного реалиста, искателя правды, аналитика, исследователя не ограничивают, не регламентируют, а наоборот, усиливают его природное стремление к идеалу, всеохватывающую жажду Полноценного, Совершенного, Гармонического, которые мыслятся им субстантивными свойствами истинно человеческого начала.

О чем бы ни писал Н. Лордкипанидзе, каких бездн человеческого сознания и подсознания ни касалось бы его перо, какие бы гнусности жизни ни изображал он (без малейшего облегчения или приукрашивания), все равно от всех созданных им образов веет удивительной, физически ощутимой чистотой.

Это не только бунинская чистопись стиля (глубоко родственная ему во многом), но и безукоризненная чистота отношения к человеку, чистота взгляда на жизнь, природная этическая и эстетическая чистоплотность.

«Я знаю... — писал Н. Лордкипанидзе еще в начале своей творческой биографии, — не вечное блаженство на небесах и не земная слава и преклонение ожидают меня. И если мне положен памятник, то его должны воздвигнуть не за то, что я в какой-то

степени участвовал в литературе и политике, а за то, что ^{через} колыхающиеся груды грязи и гнуса я сумел пронести свою иошу, ничем не запятнав ее, и так донес до святого жертвенника родины».

Новое столетие Н. Лордкипанидзе встретил двадцатилетним молодым человеком.

Детство и юность — треть его жизни — прошли в XIX веке, в типичной для столетия среде, дворянской усадьбе, вполне сохранившей свои внешние очертания и устои, аристократический распорядок жизни, благовидность, верность старым «добрым» традициям. Вместе с тем родное село писателя Чунеши находилось недалеко от Кутаиси, который в то время, наравне со столицей Грузии, справедливо считался средоточием новой культурной жизни страны — очагом грузинского модернизма.

Н. Лордкипанидзе воспитывался на передовых идеях грузинских шестидесятников, с детства впитывая их социальные и эстетические воззрения. Реалистические образы грузинской литературы второй половины XIX века составили первоначальное содержание мира его художественных представлений и привязанностей. С грузинскими реалистами прошлого столетия Лордкипанидзе роднит многое, и, в первую очередь, своеобразие его отношения к национальной истории, вообще к исторической тематике.

Главное здесь в том, что прошлое Грузии воспринимается им не как нечто отчужденное, бесследно сгинувшее, ставшее лишь воспоминанием или голой идеей. Правда, Н. Лордкипанидзе, как и его предшественники, довольно четко ощущает роковой водораздел между старой и новой Грузией, но тем не менее история для него по-настоящему родная, близкая, живая стихия, которая не вычитана из соответствующих письменных документов, а пережита и даже как бы заново прожита как живая реальность.

Такое ощущение истории усиливалось и домашними условиями будущего писателя, родившегося в семье отпрыска одного из самых знаменитых феодальных родов Западной Грузии.

Предки Н. Лордкипанидзе пользовались особым уважением при дворе царя Имерети, который называл их «мужами клятвы» и щедро наделял знаками почтения за их рыцарские доблести в непрекращающейся борьбе с иноземными поработителями.

Однако в художественном отношении Н. Лордкипанидзе к прошлому Грузии есть и новые черты, которые заметно отличают его от непосредственных литературных предшественников.

История для него интересна не как пример или урок, которые для настоящих сограждан должны стать руководством к действию



или источником вдохновения в аналогичных ситуациях. Н. Лордкипанидзе в корне чуждо утилитарное отношение к историческому материалу, особенно характерное для эпигонов грузинских шестидесятников, и, конечно же, он очень далек от всякой идеализации прошлого, которая культивировалась в творчестве приверженцев романтической школы.

Главный предмет интереса Н. Лордкипанидзе в истории — это национальный дух, его наиболее существенные «непреходящие» черты, но не в абстрактном их толковании в виде застывших форм, а в реальных, эволюционирующих, конкретно-исторических видоизменениях. Этот «дух» для автора «Грозного властелина» и «Рыцарей» отнюдь не бесплотная идея, она овеществлена в конкретных реалиях — образах, поступках, побуждениях, свершениях, взаимоотношениях, которые отображены художником с тончайшим чувством исторического колорита (следует заметить, что последний сознательно игнорировался в грузинской исторической литературе второй половины XIX века).

Однако самое существенное здесь не внешний, а именно внутренний колорит истории, который схвачен и раскрыт писателем с редчайшим мастерством, выделяющим его среди многих художников того времени, чрезмерно увлекавшихся чисто внешними аксессуарами исторической экзотики.

В основе такого преимущественного внимания к духовному содержанию истории лежит чуждое наивному оптимизму предельно ясное и, безусловно, болезненное для писателя сознание того, что многое из этого «духа» обречено на умирание или на перерождение в свою ущербную крайность, что время уносит с собой не только пороки прошлой жизни, но и ее достоинства — некоторые несомненные нравственные ценности и что всякие иллюзии об их сохранении, искусственной консервации беспощадно разбиваются при первом же соприкосновении с настоящей жизнью.

Однако этот «дух» все-таки должен быть запечатлен, художественно закреплен для того, чтобы новое, рождаясь и формируясь, знало о своих истоках, о начале того вечного движения, продолжением которого оно явилось, о некоторых духовно-нравственных ориентирах, которые не должны утеряться в беспрестанном колдовращении времени.

В творчестве Н. Лордкипанидзе можно условно выделить три аспекта характерного для него подхода к истории. Первый из них заключается в художественной расшифровке тех достоверных свидетельств прошлого, в которых, по его убеждению, «грузинский дух» проявился в своей совершенной форме. Самой высокой вершиной такого проявления писателю представляются те свидетель-

ства, которые носят на себе отпечатки глубокой гуманности, внутреннего благородства, прирожденной душевной щедрости и такого же неподдельного великодушия.

Совокупность этих свойств обозначена им широким понятием «рыцарства», которое свое наиболее яркое выражение находит в повести, так и названной — «Рыцари».

Внимательный читатель сразу заметит, что это понятие в слове Н. Лордкипанидзе имеет и четко очерченный эпохальный смысл, непосредственно соотнесенный с характерными для определенного класса (вернее для определенного социального сословия) нравами и этикой, а также, что дух рыцарства выступает в своей совершенной форме лишь на определенном этапе нравственной биографии этого сословия.

Более пристальный взгляд обнаружит и некоторые специфические особенности грузинского рыцарства, заметно отличающие поведение и манеры его представителей, в частности, от распространенной модели так называемого куртуазного духа в его западном варианте.

Рыцари Н. Лордкипанидзе даже в позднефеодальную эпоху не научились кастовой чопорности и изощренному слогу. Все они удивительно просты, задушевные, естественны, даже несколько грубоваты (правда, в определенных рамках) в проявлениях своей весьма экспансивной, необузданной природы. Несмотря на верность христианским нравственным заповедям, в них много и от пламенного языческого мироощущения.

Все это говорит о предельной верности художника натуре. Следует заметить, что естественность (натуральность) вообще одно из наиболее примечательных качеств не только стиля (способа изложения) Н. Лордкипанидзе, но и его эстетической позиции, которая имеет своей опорой еще более широкую гуманистическую мировоззренческую концепцию.

Герои «Рыцарей» в этом смысле разделяют общую участь всех других героев писателя. Они изображены без видимых внешних прикрас, они никогда не позируют, а по-человечески просто, непосредственно раскрывают нам свое нутро, свою истинную природу. Их аристократизм не нарочитый и тем более не вымышленный, а совершенно естественный, верный своим внутренним законам, в частности, и потому, что это аристократизм характера, а не жестов, внутреннее свойство души, а не подчинение этикету.

К национальному своеобразию рыцарского духа можно отнести и такую черту: все эти благородные особы удивительно склонны к веселью, озорству, к своеобразной легкости как в обращении с себе подобными или в решении несложных житейских задач, так

и при непосредственном столкновении с альтернативой жизни и смерти.

Однако рыцарство в представлении Н. Лордкипанидзе имеет не только это точно выписанное и не случайно акцентированное им конкретно-историческое и конкретно-национальное своеобразие. Понятие это особенно ценно для него в гораздо более широком смысле. И здесь следует напомнить об одной особенной теме или скорее нравственном мотиве, который оказался удивительно жизнестойким в грузинской литературе (и в прозе, и в поэзии) нашего века.

Как ни далеки друг от друга по тематике, по стилю, по художественному миропониманию такие два мастера, как Нико Лордкипанидзе и Георгий Леонидзе, их все-таки объединяет общий пафос, одно общее убеждение. Речь идет о лейтмотиве их гворчества, точнее тех произведений, которые мне представляются наиболее характерными для них.

Действительность, отображенная и в известной степени «воспетая» в этих произведениях, — это мир романтики, мир рыцарства... Я хочу еще раз повторить это несколько потертое временем, потускневшее в нашем восприятии слово, ибо оно, на мой взгляд, еще не утратило своей истинной актуальности и для наших дней.

«Рыцарство» не то слово, которое люди нашего столетия могли бы без сожаления выкинуть из своего словаря. Ибо не в узко сословном его толковании, а в широком, большом своем смысле оно означает идеал человеческого поведения.

Тяготение к рыцарскому духу и соответствующим ему этическим мотивам, характерное в сущности всем этапам развития древнегрузинской литературы, можно объяснить и тем, что «первый толчок» этому развитию (если иметь в виду светскую литературу) был придан произведением, являющим собой апологию этого духа в его вершинном проявлении — бессмертной поэмой Руставели.

Такое толкование вышеупомянутой темы в творчестве Н. Лордкипанидзе можно было бы рассматривать как некий анахронизм или как результат непреодоленных им классовых предрассудков (так именно об этом и писалось много раз), если б сам автор «Рыцарей» не осветил эту же тему и с других сторон, если б в творчестве того же Н. Лордкипанидзе носительница этого «рыцарского духа» — феодальная Грузия с ее бытом, государственным устройством, нравами, обычаями и т. д. не подверглась глубокому и всестороннему критическому изучению.

Особенно значительны в этом смысле две исторические повести «Грозный властелин» и «Лихолетье».

Примечательно, что именно Н. Лордкипанидзе оказался тем грузинским писателем нашего времени, в творчестве которого прошлое Грузии было рассмотрено в его острейших классовых противоречиях, что именно он с наибольшей художественной убедительностью и психологической глубиной вскрыл исторические пороки, присущие социальному сознанию феодального класса, и в том числе представителей рыцарского института старой Грузии.

Н. Лордкипанидзе смог показать не только зловещие изъяны в индивидуальном характере Грозного властелина, приведшие в конечном счете незаурядную, сильную личность к моральному краху, внутреннему опустошению (то есть к «разрушению личности»), он изобразил и те роковые психологические результаты, которые были предопределены его бесчеловечностью. Вспомним, на какой низкий поступок толкает страх перед ним его бывших подопечных, которые в угоду ему подло изменяют своему великодушно-му благодетелю, молодому князю Вахтангу.

В обличении антигуманных социально-нравственных устоев феодального мира Н. Лордкипанидзе следует за корифеями грузинской демократической литературы XIX века. Во многом перекликается он, в частности, с Д. Чонкадзе, автором «Сурамской крепости», который создал первый в грузинской литературе образ бесчеловечного властелина-феодала.

Однако грузинский читатель при сравнении аналогичных образов Н. Лордкипанидзе и его предшественников чувствует не только эту общность, но и присутствие новых, необычных для литературы прошлого столетия художественных элементов в образной структуре «Грозного властелина» и «Лихолетья».

Особенно четко преследживаются они в первой из этих двух повестей.

Дело в том, что Н. Лордкипанидзе в известной степени эстетизирует образ носителя социального зла. Крупный феодал, владетельный князь Леван при всей своей бессердечной жестокости не лишен некоторого внешнего обаяния; во всяком случае, рисуя его образ, автор ни разу и ни в коей степени не прибегает к гротескным или, тем более, карикатурным средствам, которыми грузинские реалисты предыдущего столетия изображали своих одичавших феодалов. Язык сатиры для автора «Грозного властелина» и «Лихолетья» неприемлем. Обличая страшный порок в характере, он не забывает о целом, не стремится превратить своего героя, его живую, непростую личность в плоское олицетворение зла. И главное, элемент эстетизации в данном случае не снижает обличительного пафоса произведения, а придает ему новую силу, новую глубину, новую художественную впечатляемость.

Внешнее изящество поступков Левана, его острый ум, страстность (даже некоторая чувствительность) характера, которые живописуются писателем редкими, но довольно энергичными мазками, являя нам облик по-своему значительной, интересной личности, сильнее оттеняют трагический порок его психики.

Художник как бы указывает нам, как человек, задуманный природой для полноценного (с гуманной точки зрения) самоутверждения в человеческом мире, вопреки этому первоначальному замыслу и в силу могучего воздействия социально-кастовых предубеждений, выработавших (или развивших до предела) в нем определенные качества, приходит к зловещей измене и «природе», и «человечности», как под давлением превратившегося в страсть, во внутреннее побуждение социального «инстинкта» он утрачивает свою человеческую природу и гибнет, становясь жертвой собственной жестокости.

Таким образом, эстетизация образа не ступшевывает остроту социальной драмы, а открывает в ней новую ее грань, дополняя картину внешних трагических следствий поведения социального типа глубоким раскрытием внутренней его трагедии.

Элемент «эстетизации» в данном случае обозначает не что иное, как художественно многогранное изображение личности во времени, а это несет в себе возможность широкого философского обобщения.

Образ феодала, созданный кистью писателя XX века, не теряет своей психологической актуальности потому, что это не только типичный представитель конкретного класса (уже сошедшего к этому времени со сцены активного общественного действия), но и эксплуататор с большой буквы, с характерной для него деспотичной психикой.

«Грозный властелин» — примечательный образец реализма Нико Лордкипанидзе, для которого под реалистическим изображением жизни подразумевались не только правдивость и правдоподобие, но и безукоризненная справедливость в отношении жизни, людей, истории, современности, глубокое, всеподчиняющее чувство правдолюбия.

Мир, изображенный художником, безусловно, «мир романтика», потому что таков в сущности сам материал изображения. Но если иметь в виду основное художественное качество произведения, то можно сказать, что, в общем, это не романтизированная, а как раз наоборот, увиденная глазами и изображенная кистью реалиста действительность. Романтизированы лишь отдельные детали (особенно связанные с любовной линией и с характеристикой героини), в главном же это — произведение, раскрывающее жесто-

кую правду истории. И это — одна из принципиально важных, блистательных побед грузинского реализма XX века, свидетельствующих об ее идейно-художественной зрелости и практически неисчерпаемых возможностях.

Третий, также условно выделенный нами, аспект отношения Н. Лордкипанидзе к прошлому Грузии переносит нас в современность, в современную писателю социальную действительность страны. Здесь на переднем плане — изображение обломков истории, правдивая повесть о том, во что превратилось то, что в былые времена составляло «цвет нации» и что некогда придавало особый оттенок, особое выражение всей национальной физиономии грузинского народа.

Повествование о разрушении и обнищании старых «дворянских гнезд», о перерождении и безнадежной обреченности его обитателей ведется писателем в элегическом тоне.

Н. Лордкипанидзе, как и И. А. Бунина в России, часто называли певцом умирающего дворянства. Такое воззрение с достаточной убедительностью опровергнуто не только современной грузинской критикой, но и всей творческой биографией самого писателя. Как показала жизнь, Н. Лордкипанидзе не был рожден писателем одной темы. Внутреннее богатство и сила его художественного дара проявились и в большом многообразии, в редком умении широкого, целостного охвата жизни.

Однако было бы ненужной натяжкой замалчивать ту тему, которая с особой силой прозвучала в его дореволюционном творчестве. Элегическое прощание с жизнью, отлетающей от былых цитаделей дворянства, — главный мотив целого цикла его повестей, рассказов и эскизов.

Здесь он следует по пути своего непосредственного предшественника Давида Клдиашвили — «грузинского Сервантеса», и многие созданные им образы глубоко созвучны образам «осенних дворян» — злополучных героев последнего крупного представителя грузинского критического реализма. Можно сказать, что линия Д. Клдиашвили в творчестве Н. Лордкипанидзе завершается тяжелой точкой, потому что окрашенные грустным юмором персонажи первого здесь уже попадают в беспросветную тьму и над их миром нависает полная безысходность. Они завершили свою настоящую жизнь и теперь обречены на абсолютное бездействие. На обломках их угасшего бытия должна родиться новая жизнь, новые формы полноценного человеческого существования.

Н. Лордкипанидзе не питает никаких иллюзий насчет возможного возврата утраченного. Приговор истории для него совершенно ясен, но, как человек и художник, он не может примириться с

его неотвратимостью. В этом «повинны» не только классовое предрасположение и сословные симпатии художника, но и те или иные специфические особенности социальной жизни Грузии новейшего времени, которые психологически объясняют и даже в некоторой степени оправдывают его тогдашние настроения.

В силу многих исторических обстоятельств рыцарская психология и нормы поведения в старой Грузии фактически выходили за рамки сознания одной лишь элитарной части общества. Самое красноречивое свидетельство тому — народное творчество, в котором благородство, великодушие, щедрость, умение прощать побежденного (даже лютого) врага, равнодушие к материальной пользе, бесстрашие, бескорытность, беззаветная преданность идеалу, а также некоторый артистизм в ходе претворения в жизнь этих начал выступают характерными свойствами не только «благородных» героев (известных исторических лиц), но и представителей простонародья, и дело здесь не в плебейском подражании знатным вельможам, а в том, что в грузинском фольклоре был выработан особый крестьянский вариант, демократическая концепция рыцарства как в известном смысле внесословного, всечеловеческого нравственного идеала.

С другой стороны, время, когда происходило становление социальных взглядов и этических убеждений Н. Лордкипанидзе, — это годы не только мрачной реакции и нового подспудного возрастания революционной волны, но и пора, когда в Грузии продолжалось свирепое наступление капитализма по всем фронтам. «Разрушенные гнезда» сметались с лица земли именно этой чуждой «старой Грузии», враждебной ее традиционному духу уродливой силой.

Продолжавшие нарастать и укореняться в стране буржуазные отношения представляли с этой точки зрения как дух торгашества, мелочности, малодушия, полного пренебрежения к человеческому достоинству, откровенного цинизма.

Психология продажности в ее универсальной форме — вот главное зло, которое Нико Лордкипанидзе видит в нравственном содержании новой силы, безжалостно, «без фантазии» меняющей облик грузинской действительности.

И надо сказать, что видит он это, в первую очередь, не как представитель определенного сословия, а как сын своего народа, как патриот своей родины, как человек беззаветно преданный, беззаветно влюбленный в «грузинский дух», который для него олицетворяет прежде всего высокие, всенародные нравственные ценности. В 1910 году писателем были написаны потрясающие по своей силе строки:

«Продается Грузия. Продается со своими полями, горами, лесами, виноградниками, пашнями, с прошлым, настоящим и будущим; с языком своим прекрасным, с характером героическим, степриимством хваленым; с природой чудесной, воздухом целебным; с домами и дворами, монастырями и церквями..»

Продают ее все: князь и священник, купец и грабитель, велик и мал, мудрец и глупец, пьяница и трезвенник. Продается везде и всюду... Продается оптом... Продается по кускам.

Так спешите же, покупайте, терзайте, рвите на куски то, что когда-то называлось Грузией, что сегодня насыщает ворона и повергает в ужас беспомощных своих доброжелателей!»

В свете этих всеобъемлющих слов трагедия разоренных дворянских гнезд предстает лишь составной частью, лишь малой каплей огромного народного, общенационального горя.

Нация, национальная действительность для Н. Лордкипанидзе—это и составляющие ее живые, конкретные люди. У каждого из них есть свой индивидуальный характер и облик, и писатель рисует множество таких обликов, характеров и судеб — и интеллигентов, и сельских священников, и деклассированных лиц, и молодых экспансивных горожан, и сентиментальных барышень, и набожных старушек, и мелких чиновников, и представителей литературной богемы; но главный стержень Грузии для него — это подъяремный трудовой, раздавленный непосильным трудом и нуждой простой люд — труженики грузинской деревни.

Тема людей аристократического склада не исчезает из после-революционного творчества Н. Лордкипанидзе. В повести «Закли- нание по радио» рассказано о почти фантастической истории одной из последних представительниц этого клана, выброшенной мировой бурей к далеким от родного края берегам, где это хрупкое существо попадает в лапы изошренных в своем деле капиталистических хищников, где под внешним лоском и благообразием без-раздельно царствует всемогущий Молох.

Нередко обращается писатель также и к жизни артистических кругов общества, к образам «аристократов духа» старого покроя, богемствующих и даже дебоширствующих окололитературных особ, фатов, повес, доморощенных апологетов дэндизма, потерявших реальную перспективу жизни провинциальных или столичных мечтателей, чудаков, неудачников.

Некоторые из них, как, например, герой повести «Без па-руса» — бывший светский лев и возмутитель общественного спо-койствия, ныне спившийся, нищенствующий маньяк, таит в душе непримиримый протест к господствующей «в верхах» лжи, лице-мерию, к ханжеским нравам и повадкам дирижеров «культурно-

го» общества, но его протест даже потенциально бесплоден, сам он не только в глазах общества, но и в собственном сознании давно конченный, «лишний» человек.

Тема лишних людей надолго приковывает внимание писателя. Задворки жизни не перестают волновать его, потому что в этом мрачном омуте среди отбросов «человечины» он очень часто находит безжалостно изуродованные крупницы истинно человеческого, способного в других условиях развиваться в нечто гармоничное, светлое, прекрасное.

Произведения, написанные на эту тему, отличает особый, напряженный, нервный, порывистый стиль, отражающий внутренние метания героев, разорванность их сознания, кризисные состояния психики.

Однако главная, все время нарастающая, вбирающая в себя новые пространства реальности тема Н. Лордкипанидзе — это большая народная жизнь, духовное и материальное бытие грузинского трудового народа.

Следует обратить внимание, что даже в исторической прозе писателя рядом с заповидами мира сего действуют и колоритные представители простого люда.

В повести «Рыцари» выделяется образ рядового солдата, крепостного крестьянина Лазики, который и на поле брани «трудится» в поте лица, изворачивается, памятуя о нищенском положении своей семьи, ждущей от него не славы и не ратных доблестей, а куска хлеба.

Описание жизни потомков Лазики, продолжающих отчаянную, изматывающую борьбу за существование, за то, чтобы выжить, удержаться на ногах, не сгнуться, не смешаться с грязью, — главная художественная задача зрелого Н. Лордкипанидзе, предопределившая на долгие годы, на всю жизнь в литературе самое плодотворное направление его художественного творчества.

Народные характеры писатель рисовал без прикрас, без снисходительного отношения к их жизни, как к чему-то элементарному, малоразвитому, односложному. Его «маленькие люди» из народа — это безвестные герои, трагические существа, наделенные большими человеческими чувствами, сохраняющие глубокое внутреннее достоинство.

Народную мудрость, добро и благородство олицетворяет одна из миллионов жертв социальной несправедливости — «женщина в платке». Незапятнанная чистота чувств, душевная просветленность сопутствуют героям рассказа «На свидание» — простым, мирным крестьянам Имерети, ставшим действующими лицами кровавой драмы.

Когда же эти люди теряют самое драгоценное — свое внутреннее благородство, которое для них равнозначно не только целочеловечности, но и самому смыслу жизни, когда реальный кошмар этой жизни вконец скручивает их, заставляя уступить, сдаться, признаться в своей беспомощности, отдать последнее свое достояние, они находят в себе силы для того, чтобы отказаться и от жизни, и от права на существование.

«Трагедия без героя» — это реалистически сфокусированный отблеск уже не частной, не индивидуальной, но народной трагедии.

Здесь говорит не одно сочувствие, не грусть, не тоска, не только боль за несчастного человека, но и гораздо более действенное чувство возмущения, непримиримой ненависти, которая единственную логическую альтернативу всему, что создано для унижения и уничтожения людей, находит в коренной переделке их жизни.

Жить так дальше невозможно! — именно этим выводом, вытекающим из длительного, многостороннего исследования жизни, был вдохновлен писатель, обратившийся в середине двадцатых годов к новой для него теме, к изображению деятельности передовой, революционной части рабочего класса Грузии, призванного в корне переделать лицо старого мира.

«С тропинок на рельсы» (1928) — произведение итогового значения в творческой биографии художника. Н. Лордкипанидзе никогда не отрывался от живой современности. Но не случайно осмысление национальной действительности он начинал именно с истоков. Не случайно также, что он как художник шел путем накопления опыта, всестороннего «эмпирического» изучения жизни, не спеша с конечными умозаключениями, не поддаваясь скоропелой тенденциозности. Это тоже свойство его реализма, его вдумчивой, склонной к углублению писательской натуры.

Обращение к теме революционного рабочего класса — результат именно такого медленного, но целенаправленного, поступательного движения.

От истории к современности, от частных к целому, от деталей жизни к ее сущности — так он приходит к сознанию необходимости осмысления движущих сил настоящего — революционного преобразования Грузии.

Характерно, что и на этом этапе своей творческой биографии он проявляет некоторую художественную осторожность, обращаясь не к текущему дню, не к животрепещущим проблемам и событиям современности, а к подготовившим и обусловившим эти исторические сдвиги явлениям вчерашнего дня.

В этом проявляется большая внутренняя добросовестность художника — реалиста и присущее ему в высшей мере чувство ответственности перед своим читателем. В романе «С тропинок на рельсы» дается широкая и вместе с тем глубоко продуманная картина эволюции общественной психики в Грузии между двумя революциями нашего столетия — с одной стороны, кризис и деградация буржуазного либерализма и с другой, — формирование нового революционного пролетарского сознания, выраженного в программе и в деятельности передового отряда рабочего класса — его революционной большевистской партии.

Все, что пишет об этом Н. Лордкипанидзе, по сей день создает впечатление абсолютной достоверности, каждое слово, каждый штрих, каждый интонационный оттенок взвешен, все сверено с большой правдой жизни, а также с конкретными фактами и обстоятельствами истории.

Элементы романтической патетики доведены до минимума, все в этом произведении дышит правдивостью, убедительностью, все жизненно и именно в силу этого заставляет верить в жизненную закономерность, в глубокую историческую разумность происшедшего. Закономерна и логика творческой эволюции большого художника-реалиста, предопределившая его обращение к самой современной теме эпохи с позиции нового революционного миропонимания.

У Н. Лордкипанидзе-художника есть одна особенность, которая с годами становится все глубже и ярче.

Он «ласкает» предметы, вещи, детали, бытовые черты и конкретные жизненные обстоятельства, составляющие человеческую жизнь и обиход. С бережной, ревливой любовью ищет он и очень часто находит ускользающие от современных людей слова, обозначающие эти вещественные, «земные» понятия.

Такая привязанность распространяется не только на близкие, биографически сроднившиеся с писателем предметы и явления, но нередко (со временем все чаще) и на то, что значительно отдалено от него во времени.

Особенно характерен в этом смысле стиль одного из последних его рассказов (датированного годом кончины писателя) — «Возвращение из плена».

Несколько столетий, отгораживающие от автора описываемую в этом произведении историю, не мешают ему любовно, с мельчайшими подробностями повествовать о том, что происходит у домашнего очага бедной деревенской семьи с той самой минуты, когда вернувшийся живым с бесславной войны крепостной крестьянин переступает родной порог.

Любование предметным миром особенно ощутимо в «деревенской прозе» писателя. Но не только. Многие «городские» его рассказы тоже насыщены вещественными атрибутами быта урбанистического.

Это — своеобразная страсть (может, порою, даже прихоть, некоторая «слабость»), которая может показаться странной, во всяком случае труднообъяснимой для такого писателя.

Ведь (кажется, мы забыли сказать об этом с самого начала) Н. Лордкипанидзе по рождению, воспитанию, натуре — личность на редкость возвышенная, романтическая, склонная к мечтательности, глубоким эмоциональным порывам и даже к некоторой экзальтации.

Многие его миниатюры (в большинстве дореволюционные), написанные в духе свободных или белых стихов, состоят из сплошных излияний чувств, смутных намеков, едва различимых оттенков переживаний, предчувствий, томительных ощущений. И все это облечено в почти невесомую оболочку какой-то бестелесной, воздушной (несколько стереотипной) метафористики.

Можно сказать, что романтическая возвышенность — «первая натура» Н. Лордкипанидзе. Это — художественное выражение глубинной чистоты его души, взращенной на идеалах абсолютного добра, безупречного благородства чувств, изысканной красоты, впитавшей в себя с материнским молоком культ всего поэтического, изящного, утонченного.

И все-таки «вторая натура» художника оказалась сильней.

Некоторое время, правда, два стилевых потока развиваются в его прозе параллельно, на равных правах, как бы соревнуясь.

Но со временем второй подчиняет себе первый. Земное, материализующее начало берет верх над возвышенно-обеспредмечивающим.

Первый поток, конечно, не исчезает бесследно. Влившись в более могучее течение, он обогащает его, придает ему нечто от себя, не претендуя, однако ж, на независимое, самостоятельное существование.

Возобладание «земного» начала в художественной стилистике маститого писателя можно объяснить и просто. С возрастом человек складывает крылья, становится тише, уравновешеннее, наблюдательнее... Гравитация пересиливает центробежную энергию.

В самом деле, некоторым поздним вещам Н. Лордкипанидзе заметно недостает прежнего пыла, эмоциональной увлеченности, размаха фантазии. Это и не удивительно. Но такой спад касается лишь частных, отдельных зарисовок или второстепенных

образов (в самые последние годы на работе писателя сказался в какой-то мере и тяжелый его недуг).

Однако ж главное не в возрастных факторах, а в более перативных велениях творческой зрелости.

Такой сдвиг в художественной эволюции Н. Лордкипанидзе глубоко симптомагичен в гораздо более широком смысле, ибо он отражает знаменательную закономерность становления его реализма.

Окончательная победа реалистического миропонимания над романтическим в творчестве писателя глубоко своеобразна, специфична по своему содержанию, ибо означает не насильственное подавление, не полное упразднение того, над чем она одержана, но эстетически более разумное, более органичное действие.

Не исключено, что такое тяготение к конкретной предметности, столь зримо сказавшееся в позднем творчестве Н. Лордкипанидзе, было обусловлено именно его изначальной, врожденной романтической стихией, которая с самого начала страдала от собственной зыбкости и бесплотности, от жгучей жажды претвориться в нечто материально непреложное и от мучительного сознания невозможности такого полноценного самоосуществления в рамках своих, чисто романтических средств и возможностей.

Отсюда и стилевые скачки, резкие переходы от одной крайности к другой, характерные для раннего Н. Лордкипанидзе, которым позднее пришли на смену более гармоничные, синтезирующие способы художественного освоения и осмысления действительности.

Так или иначе, эстетический смысл проделанного Н. Лордкипанидзе пути глубоко характерен не только для его личной литературной судьбы, но и для всей грузинской художественной прозы XX века, которая, начав с неоромантических увлечений (под преимущественным воздействием поэтики символизма), постепенно стала обращаться к классическим идеалам искусства не только в их мировом, но, первым делом, и в их национально-своеобразном художественном преломлении.

Национальные же традиции грузинской литературы, начиная с самих ее истоков, указывали как раз на органический синтез этих двух эстетических начал.

Не случайно такое направление оказалось главным именно для крупнейших грузинских мастеров слова нашего времени и самобытный дар Нико Лордкипанидзе, как одного из самых глубоких национальных явлений этой эпохи, нашел свое полное раскрытие в этом широком русле.



Виталий ШАРИЯ

ТЕПЛЫЙ ИСТОЧНИК • Очерк

НЕДАВНО был я в абхазском селе Тамыш, с которым у меня связаны самые дорогие детские впечатления.

Иду по проселочной дороге и вспоминаю...

Вот там, недалеко от железнодорожного переезда, стояла когда-то пацха моего деда... Вот зеленый луг, где вместе с местными ребятами мы гоняли футбольный мяч. Гена Купрашвили, Миха Гогия, Зураб Чачхалия, Виталий Гогия, Эдик Чикобава... Я был на несколько лет старше всех их и поэтому без всяких угрызений совести присвоил себе звание «играющего тренера». Помню, выстраивал всех по росту, делал переключку, начинал разминку... У каждого в нашей команде было прозвище, совпадавшее с именем какой-нибудь «звезды», сверкавшей в то время на футбольном небосклоне. «Тренировки» проходили с шутками, как-то празднично, весело. И была чудесная атмосфера взаимной поддержки, дружелюбия, я бы сказал, братства, которая присутствовала в отношениях между мальчишками.

Смелость, сила, мужество, ум, практическая сметка, изобретательность, великодушие, доброта — вот что было самым важным в нашем мальчишеском табеле о рангах и лишь в последнюю очередь, как нечто наименее существенное и уж, конечно, никоим образом не определявшее взаимоотношений внутри ребячьего коллектива, вспоминалось, кто ты: грузин ли, абхазец...

Капитан той детской футбольной команды Геннадий Купрашвили — «Бест», как мы его называли, рослый — косая сажень в плечах — парень, уже женат на своей бывшей однокласснице Гоголе Чакветадзе из соседнего села Киидги. Прошлым летом я был приглашен к ним в числе близких родственников и друзей, когда они отмечали рождение дочери.

Помогая хозяевам в подготовке к застолью, я несколько раз в тот жаркий солнечный июньский день отправлялся освежиться под душем, устроенным совсем рядом с их домом, там, где бьет

из-под земли источник термальных вод. Этот источник появился несколько лет назад — после того как геологи пробурили здесь скважину — и за короткое время сумел приобрести большую популярность среди местного населения и отдыхающих: летом у него часто возникают целые очереди. Вода в источнике теплая и сернистая — поднесешь к выбросу горящую спичку — и водяная струя запылывает голубоватым пламенем...

Лишь к вечеру жара спала. Когда начало смеркаться, подъехали гости из Киндги — родные Гоголы. Гости из Киндги и хозяева — тамышцы — расположились за двумя длинными столами, накрытыми прямо под открытым небом, лицом друг к другу. Будто разноцветными мячиками, перебрасывались они остроумными тостами и шутками, за столами то и дело вспыхивал смех. Здесь сидели и увенчанные папахами старцы, и люди среднего поколения, и молодежь. Разговор в основном шел на абхазском (девятиностолетний дедушка Гоголы, попав давным-давно в Киндги из-под Боржоми, женился на абхазке Киут, отец его в свою очередь — на абхазке Квициния, так что в родне ее сплошь абхазцы, да и среди тамышских друзей семьи Купрашвили абхазцев было большинство), но тут же звучали тосты и на мингрельском, и на грузинском — почти все присутствующие прекрасно понимали эти языки, одинаково родные и близкие, как сама Родина.

* * *

Мушни Татластанович Рацба, агроном Сухумского дорожно-озеленительного хозяйства (его дом расположен в самом центре Тамыша), говорит:

— Трудно найти более близких соседей, чем мы с семьей Джиджелава. И в радостную, и в горестную минуту мы с ними всегда вместе. И это — с самого первого дня, когда мы переселились в этот дом из соседнего села Цхенис-Цкали и семья Джиджелава, как родных, тепло и сердечно встретила нас.

— Недаром в народе говорят: близкий сосед лучше далекого родственника, — добавляет дочь Давида Лукича Джиджелава Лиана. — Когда несколько лет назад папа тяжело заболел, сколько времени и сил потратили дядя Мушни и его семья для того, чтобы помочь нам, поддержать нас, они буквально не отходили от его постели!

Соседи действительно живут как одна семья; помогают друг другу по хозяйству, часто проводят вместе вечера. И дружба родителей — Мушни Татластановича и его жены, директора тамышской восьмилетней школы Марии Владимировны, Давида Лукича и его жены, ветврача Арадуского молочно-овощеводческого

совхоза Александры Виссарионовны — совершенно естественно и органично переросла и в дружбу их детей — Люды, Лианы, Игоря Рацба, Зураба, Геннадия, Лианы, Инани и Эапкел Диджеджава. Близкие отношения людей закономерно влияют на воспитание в них интереса и уважения к культуре другого народа, к его истории и языку. Происходит взаимное обогащение людей. И абсолютно естественным для всех кажется, скажем, то, что Инани Диджеджава прекрасно поет абхазские народные песни, а Люда Рацба — частый зритель спектаклей Сухумского грузинского госдрамтеатра. А разве хоть в чем-то ущемлены национальное самосознание, культура, быт тамышцев? И я вдруг понял, как показательны отношения между людьми в этом маленьком абхазском селе для интернационального братства огромной Советской страны, а жизнь Тамыша представилась мне крошечным сколком дружбы всех народов, населяющих мою многонациональную Родину.

* * *

В суровую годину Великой Отечественной войны судьба забросила в Тамыш молоденького лейтенанта Ваню Месяца. До этого он воевал на фронте, был ранен и из госпиталя выписался с недействовавшей левой рукой. Его родная Полтавщина была в то время оккупирована, и его направили военруком в тамышскую школу. Годы были, известно, трудные, голодные. Иван жил по очереди в семьях старшеклассников: день у одного, день у другого. Как-то ночевал в доме ученика десятого класса Джото Зантариа, и утром, идя умыться, с невольной грустью произнес: «Да, сегодня я здесь, а где завтра буду?..» Так получилось, что слова эти услышала хозяйка дома — Гулища Зантариа. Подойдя к искалеченному войной хлопцу, она на ломаном русском языке, с трудом подбирая слова, сказала: «Мой старший сын Шалико с первых дней войны ушел на фронт. Вот кровать, на которой он спал, вот место за столом, где он сидел. Мой сын погиб и никогда уже не вернется. Я прошу тебя остаться здесь и быть вместо него моим сыном».

Так и остался Иван в абхазской семье Зантариа, и сыновья Гулищи Джото и Шота стали ему братьями, а дочь Валя — сестрой. Через несколько лет после окончания войны он женился на учительнице тамышской школы грузинке Елене Горозия, всем «миром» помогли построить молодым свой дом, но Иван Саввич Месяц как был, так и остался членом семьи Зантариа. Самые близкие отношения завязались между семьей Зантариа и родными Ивана Саввича, оставшимися на Полтавщине.

А сколько детей из России, заброшенных в Тамыш сиротской судьбой, выросло здесь в абхазских, грузинских семьях! Так, еще в тридцатые годы попал в село девятилетний мальчик Адвеш Подлубный. Воспитала его семья грузина Джото Данелия. Сейчас фронтовик, прошедший с боями до Берлина, Алексей Данелия (записан он именно на эту фамилию) уже в годах, имеет трех сыновей, дочь, внуков.

* * *

— Давно, то ли в конце прошлого века, то ли в начале нынешнего, мой дед Лаз Зантариа построил деревянный дом... — начинает свой рассказ один из названных братьев Ивана Саввича Месяца, ныне председатель исполкома Тамышского сельсовета Шота Дзуквич Зантариа.

«Вот эпохальное событие — деревянный дом», — с иронией подумаете вы. Но в том-то и дело, что построить в то время в Тамыше крестьянину такой дом было неслыханной дерзостью! Настоящий, добротный дом имелся тогда только у местного удельного князя Александра Чачба, крестьяне же жили в плетеных хижинах — пацхах. Дом, построенный Лазом Зантариа, состоял всего из двух комнат, в нем и окон-то не было, но разгневанный князь вызвал его к себе и начал отчитывать: «Как ты, безродный, посмел равняться со мной!»

Прошло всего несколько десятков лет — в тысячелетней истории Абхазии, в общем-то, ничтожный отрезок времени. Сейчас в Тамыше редко встретишь одноэтажный дом, почти все — двухэтажные. В каждой третьей семье — пианино. В селе более пятидесяти личных автомобилей, шестьдесят телефонных точек.

Чем прежде мог заниматься тамышец? Земледелием да скотоводством. В наши дни в его жизнь властно вторглись разнообразные отрасли современной промышленности, наука, курортная индустрия; на территории Тамышского сельсовета, кроме эфирномасличного совхоза-завода с его плантациями герани, базилика и розы (его продукция поступает в сорок городов страны и за рубеж), филиала учхоза «Эшера», расположены ПМК, ДРСУ, хлебокомбинат, объединение «Сельхозхимия», автопрофилактика, цветочное хозяйство, туристическая база, недавно вступил в эксплуатацию большой питомник обезьян Института экспериментальной патологии и терапии АМН СССР.

Кроме двух общеобразовательных школ — средней абхазской им. Д. Гулиа и восьмилетней русской им. Ц. Бжания, есть музыкальная школа.

С каждым годом село благоустраивается — недавно закончено строительство нового моста через реку Тамыш, жилого до-

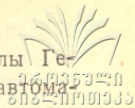
ма на 16 квартир для рабочих совхоза-завода. В то же время здесь еще немало проблем, ждущих своего решения: нужно асфальтировать дорогу поселка Наочь (она одна в селе, осталась без асфальта), нужны новые здания сельсовета и почты, Дом культуры. Давно мечтают тамышцы о памятнике односельчанам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны...

Все то хорошее, что достигнуто в селе за годы Советской власти, — это результат совместного дружного труда людей разных национальностей.

Тамыш, разумеется, не единственное в Абхазии многонациональное село (таких сел в автономной республике, можно уверенно сказать, большинство), но вот мест, где интернациональная общность людей начала складываться так давно и имеет столь глубокие корни, пожалуй, немного. Издавна рядом с коренным абхазским населением начали селиться здесь мигранты из-за Ингури. В тридцатые годы, когда в Тамыше был организован шелководческий совхоз, в селе появилось много русских. Ныне здесь живут и трудятся представители девятнадцати национальностей, среди них — армяне, турки, украинцы, белорусы, болгары, греки, эстонцы, поляки, евреи, лазы, узбеки... В процессе коллективного труда постоянно совершенствуется, становится богаче духовный мир людей. В селе появился своего рода сплав нового человека, в который каждый постарался внести наиболее ценные моральные качества, присущие его народу.

Множеством незримых нитей братской связи соединен Тамыш с разными уголками нашей страны. Вот уже двенадцатый год каждое лето в здании тамышской средней школы располагается пионерский лагерь Барановичского хлопчатобумажного комбината из Брестской области. Друзья из Белоруссии ежегодно ремонтируют школу, благоустраивают ее территорию, построили здесь столовую на 300 мест. А завязались эти добрые отношения после празднования 25-й годовщины освобождения Белоруссии от немецко-фашистской оккупации, когда на торжества в Барановичи были приглашены вонны-освободители со всех концов страны, в том числе и из абхазского села Тамыш...

А когда недавно торжественно отмечалось 100-летие тамышской средней школы и в ее дворе состоялось открытие памятника человеку, чье имя школа носит и который в свое время отдал много сил ее становлению, — Дмитрию Иосифовичу Гулиа, среди самых почетных гостей была делегация из Тержольского района, из школы, которая также названа именем основоположника абхазской национальной литературы и поддерживает с тамышской тесные отношения.



Как-то возле дома директора тамышской средней школы Георгия Ашхангириевича Бжания остановилась легковая машина. Из нее вышли двое ученых из Сухуми и сухопарая пожилая женщина, которую хозяин дома не знал.

— Профессор из Соединенных Штатов Америки, исследователь и популяризатор в области геронтологии, — представили ему гостью. — Очень интересуется жизнью Ашхангирия Бжания.

Что ж, в этом посещении не было ничего удивительного. Известный долгожитель Ашхангирий Бжания умер в 1946 году в возрасте более 147 лет, но и после его смерти ученые, в том числе из-за рубежа, не раз обращались к изучению образа его жизни.

Зашли в дом. Георгий Ашхангириевич долго рассказывал о своем отце, который прославился не только как проживший необычайно долгую жизнь ровесник А. С. Пушкина, но и как мудрец, человек высокой нравственности и непререкаемого авторитета в народе. Профессор, хорошо знавшая русский язык, внимательно слушала и записывала, отдельные моменты просила повторить для записи на портативный магнитофон.

Конечно, хозяин постарался устроить для гостьи достойный прием, пригласил соседей. За столом собралось несколько десятков человек.

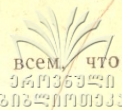
Дымящаяся мамалыга с сыром, мясо, молодое вино, янтарные початки кукурузы, темно-красные чурчхелы, фрукты — на столе было все, чем щедра абхазская земля. Тем не менее хозяин, который был тамадой, обратился к гостье с ритуальными извинениями за скромность стола. Что вы, возразила та, я не уверена, что у себя дома смогла бы принять вас так же радушно...

Но чуть позже ей, видно, захотелось все же подчеркнуть в чем-то свое превосходство и она не смогла удержаться от замечания:

— А все-таки я живу богаче вас. У меня, например, три автомашины...

Надо ли говорить, что такой поворот разговора не мог не задеть хозяина.

— Богаче, вы говорите? — сказал он. — Ну, это как посмотреть. Я вполне допускаю, что обстановка в вашем доме роскошней. Но ведь я простой сельский учитель, а вы — профессор. Зато все пятеро моих сыновей получили высшее образование, а ваш единственный сын, как вы рассказывали, его так и не получил. А вот еще мое богатство — книги. Видите, все полки заставлены. А еще — верные друзья, соседи, которые готовы



в любую минуту прийти мне на помощь, поделиться всем, что имею. Уверены ли вы так в своих соседях?

Гостье ничего не оставалось делать, как развести руками. что ж, мол, вы победили.

...Этот эпизод, происшедший несколько лет назад, вспомнился Георгию Ашхангириевичу, когда однажды мы разговаривали, сидя в его гостеприимном доме. Именно тогда я понял, что истинное богатство человека — это годы, прожитые достойно.

Дочь тамышца Ферона Ануа, девчушка с необыкновенно густыми иссиня-черными волосами, заплетенными в две тугие косы (она училась тогда в одном из московских медучилищ, а разговор наш происходил накануне новогоднего праздника), рассказывала:

— Папа под Новый год обычно наряжает елку, которая растет у нас неподалеку от дома. Вешает на ее ветки игрушки, конфеты, мандарины.

Я живо представил себе эту картину: возле нарядной новогодней елки останавливаются соседские ребятишки: кто конфету сорвать, кто — мандарин, кто просто полюбоваться вечнозеленой красавицей, у которой не отняли ее связи с живительными соками земли. Не самая ли это красивая и добрая новогодняя елка на свете?

Душевная щедрость — вот исконная и свято хранимая вековыми традициями черта народа. Душа его всегда была чиста, как снег, сверкающий на вершине легендарного Эрцаху, тверда, как неприступная Анакопийская цитадель, для врагов, покушавшихся на его свободу, и широко распахнута — для друзей, независимо от наречия, на котором они говорили.

«Я слишком горжусь своей родиной, чтобы быть националистом», — сказал один из мыслителей. Эти же слова с полным правом мог бы повторить вслед за ним тамышский крестьянин, который во все времена как брата принимал в соседи представителя любой национальности, любой культуры, приходившего для того, чтобы мирно трудиться на этой земле и совместным с ним трудом превращать ее в цветущий сад.

Неутомимо бьет из-под земли теплый источник. Я смотрю на него, и мне кажется, что место, где стоит село Тамыш, согревают не только подземные термальные воды, но и неиссякаемое тепло дружбы и братства народов.

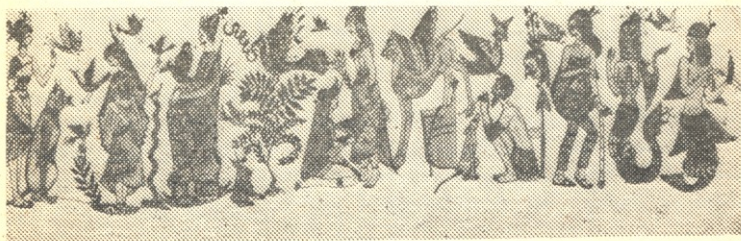


Владимир ЕРЕМЕНКО

ТАЙНА ИСКУССТВА

ПОЧТИ три месяца в Москве, в зале Постоянного представительства Грузии при Совете Министров СССР проходила выставка работ тринадцатилетней тбилисской школьницы Русудан Петвиашвили...

За окнами просторного зала мерцал заснеженный город, а здесь, среди развешенных по стенам огромных картонов и небольших листов, царил иной мир, пронизанный жарким, неукротимым движением. Восхитительный хаос человеческих тел, рыб, птиц, мифических чудовищ двигался с листа на лист, задевая и увлекая воображение. Этот поток то сжимался, кристаллизуясь в изумительно выписанные царственные лица, противопоставленные друг другу, то вновь вспенивался и заполнял почти метровые картоны причудливой сумятицей очень живых, подвижных и необъяснимых в своей направленности фигур. Неожиданно та или иная графическая миниатюра, изобразительной точностью соперничающая с офортом, оказывалась необычайно тонко расцвечена акварелью, и снова двигались звери и птицы, люди и твари, существа, никогда не населявшие Землю, но очень органично созданные и оживленные воображением юной художницы.



Дарование Русудан и с точки зрения непосредственного зрителя, и на взгляд бывалого скептика — явление феноменальное. Композиционная плотность, безукоризненная лепка фигур, рука зрелого мастера, ощутимая в каждой вещи, — все это не может не восхищать. Поэтому совершенно естественны восторженные записи в книге отзывов.

Двигается, перетекает с листа на лист агломерат лиц и рыб. Странные лица. Странные рыбы. Странные, противоречащие логике, пугающие мутанты... Откуда это? Почему? Как сложилось? Что выражает? Заметим, что автор таинственных фантазий — жизнерадостная девочка, которая, по ее собственному признанию, занимается спортом, любит балет, песни Высоцкого и.. виноград.

Родители Русудан убеждены, что не помогали дочери обрести это своеобразное внутреннее зрение, не развивали в ней воображения искусственно, средствами литературы. (Кстати, это утверждение вызывает у многих особое недоверие, ведь отец девочки скульптор, а мать филолог). Напротив, все дети в этой семье, а у Русудан четверо младших братьев и сестер, воспитываются в тесном общении с природой, и частые загородные прогулки — один из важных способов познания окружающего мира. К тому же Русудан, при ее бесспорных данных, учится в обычной, а не в художественной школе.

По первому впечатлению в работах юной художницы отсутствует все то, что традиционно связывается с понятием детский рисунок. Нет сочных цветовых пятен, нет изобилия «волшебных», по определению Валентина Серова, «ошибок», подчеркивающих характерность лиц и предметов. Кстати, о лицах и предметах. Отвлеченных предметов, организующих пространство, в работах Русудан почти нет. А то, что есть — лодки, колесницы, троны, оружие и украшения — всегда связано с непосредственными действиями изображаемых фигур. В сущности, нет и характерных лиц, они индивидуальны лишь постольку, поскольку необходимо отобразить роль той или иной фигуры в этом своеобразном повествовании. Поэтому мы легко узнаем юную принцессу, старую колдунью, злого волшебника или воина, но все они безымянны, и сказки, а вернее сказания, которые Русудан скорее видит, чем знает, никогда не раскрываются для нас целиком. Как правило, в произведениях девочки изображаются некие кульминационные моменты воображаемых легенд. В сущности, все произведения, представленные на выставке, по нашему мнению, можно разделить на несколько групп. Первая — крупные панно, где задумчивый гигант (человек или чудовище)



противопоставлен деятельному, как бы излучающему энергию хаосу человеческих тел (динамику фигур Русудан передает безупречно). Надо отметить, что человеческий хаос на листах Русудан — музыкальный хаос, и важнейший музыкальный закон непрерывности действия господствует почти во всех произведениях юной художницы. С точки зрения чисто изобразительной, листы первого типа — прежде всего сложнейшие многофигурные композиции, интерес к которым, судя по датировке представленных на выставке работ, Русудан проявила еще в шестилетнем возрасте. Бросается в глаза, что, в полном смысле слова, детские произведения девочки изображают совершенно конкретный мир: на юношах-гигантах ремни с солдатскими бляхами, а людской поток, текущий сквозь огромные фигуры, — это школьники: задиристые мальчишки и девчонки с косичками и портфелями. Уже тогда изображение не имело перспективы, хотя фигуры выпуклые, с ярко выраженной динамикой. В ранних работах присутствуют и детали быта. На одном из рисунков девочка даже изображает свою семью. Все ранние вещи выполнены карандашом. В восемь лет девочка освоила рисунок пером, в десять — начала работать тонкой кистью и применять краски. Работы десятилетней Русудан — это уже виртуозные произведения. В них совершенно нет оплошностей, свойственных детям, более того, в них нет характерных

для подробно детализированных изображений признаков ремесленных усилий. Напротив, в каждом из листов этого времени видна удивительная, просто мастерская свобода и раскованность рисунка.

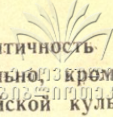
Большинство работ, начиная с 1974 года, — «фрагменты» загадочных сказаний, о которых мы говорили выше, и листы композиционных фантазий в духе «капричос».

В работах этого периода черты реального мира уже полностью отсутствуют. Некоторые из работ, представленных на выставке, позволяют предположить, что переход к вещам чистого воображения происходил постепенно, причем первыми трансформировались фигуры «гигантов». На то что в творчестве Русудан Петвиашвили имеет место не неожиданная ломка, не искусственное воздействие, а преемственное развитие индивидуального художественного мышления, указывает и то обстоятельство, что, достигнув удивительного даже для зрелого художника графического мастерства, девочка не изменила сложившимся у нее в раннем детстве композиционным принципам, а сознательно или бессознательно развила их и заставила признать.

Теперь самое время вспомнить обвинения в «литературности и искусственности» и попытаться отыскать аналогии образов, созданных Русудан. Прежде всего определим основные признаки произведений юной художницы. В основном изображения — плоскостные, напоминающие рисунки барельефов, иные листы содержат сразу множество почти не связанных сюжетов и напоминают петроглифы; любопытно, что в таких вещах фигуры людей, не связанные логически, тем не менее связаны между собой каким-нибудь простым прикосновением руки, ступни, волос. Связь эта формальная, но ее наивность удивительно располагает. Типы лиц в большинстве своем восточные, скорее всего арабские. Одежда — разнообразные по фактуре ткани, спадающие складками. Ближе всего изображенные персонажи к художественным типам ассирийско-вавилонского происхождения. С изображениями этой культуры роднит работы Русудан и противопоставление последовательно размещенных на листе фигур, и изображение водной поверхности — плоское, очень условное, с непересекающимися контурами рыб. При этом формы рыб очень конкретны, разнообразны и имеют чисто биологические аналоги среди глубоководных видов. Противопоставление гигантов и человеческого муравейника — характерный принцип древнеегипетских культовых изображений. Не отсюда ли пришла и пиктограмма, изображенная на одном из листов? Впрочем, знаки пиктограммы, хотя и имеют аналоги, в совокупности своей — тоже плод воображения художницы, как, впрочем, и подписи, выполненные буквами древнегру-

зинского алфавита. От египетской традиции происходят змеи-цы и другие биологические мутанты, а стоящие на задних крылатые человекобыки восходят к культуре шумеров; крылатые кони с женской головой и двуликие существа подстерегают нас в древних источниках Индии, а на древнеиранских коврах встречаются тигры с головой слона и другие таинственные существа. Что же касается глаз, расположенных на ногах чудовищ, и двояких признаков пола, птичьих конечностей и других «страстей», то аналог этому — генетические фантазии средневековой европейской медицины, и вряд ли девочка могла видеть эти изображения. Если традиции древнего Востока и Азии заметны в работах художницы, то традиции древних индийских культур, в известной мере близкие к древневосточным, в произведениях Русудан не прослеживаются. Незаметно в ее творчестве и влияние античной изобразительной традиции, хотя именно она в случае искусственного воздействия должна была влиять в первую очередь. То, что в графике Русудан полностью отсутствуют древнеиндийские изобразительные формы, близкие ей по типу художественного мышления, вполне закономерно — в школьных учебниках истории этому периоду человеческой культуры уделено несравненно меньше места, чем великим цивилизациям, развивав-





шимся в Междуречье и в долине Нила. Но ведь античность в школьной программе разбирается достаточно внимательно, кроме того, она опосредствована всей последующей европейской культурой вплоть до сегодняшнего дня и несравненно более доступна для восприятия и своим реализмом, и традиционным понятием прекрасного, почему же античность не увлекла Русудан? Ответ один. Юная художница выбрала из предложенного материала то, что наиболее полно выражало черты ее индивидуального художественного мышления. Выбрала и преобразовала. Разумеется, самостоятельно. Вот какую запись оставил в книге отзывов известный итальянский художник Реннато Гуттузо: «Я был глубоко потрясен поразительной способностью фантазировать, естественностью в сопоставлении сверхъестественных элементов, талантом графика, точностью, пронзительностью рисунка. Очень волнует этот момент вхождения в мир воображения Русудан, в мир ее изумительного детства».

Мир воображения — святая святых всякого подлинного художника, огромная подводная часть айсберга, меньшая, видимая сторона которого — воплощенные произведения. Родители рассказывают, что девочка рисует нерегулярно, но если садится, то непрерывно работает по пять-шесть часов. Никогда не исправляет линию, просто откладывает испорченный лист и начинает все сначала. Быть может, поэтому каждое произведение очень точно доносит какое-то определенное ощущение — напряжения или радости, испуга или жгучей тайны. В начале нашей статьи мы предположили, что маленькая художница скорее видит изображаемые сказания, чем знает их. Быть может, они носят характер снов и именно потому на листе отражается самый напряженный момент, то, что остается в памяти после сна? Думаем, что на этот вопрос не ответит и сама Русудан, скорее всего это тайна и для нее. Интересно, что работы Русудан при всей их несомненной оригинальности как бы не нуждаются в авторстве, в них отсутствуют черты времени, и на вопрос: когда это происходило, по поводу одних вещей можно ответить — «в давние времена», а по поводу других — «только что». Общее ощущение от работ тбилисской школьницы такое же, как от миниатюр в старопечатных книгах — индивидуальные, соответствующие духу времени авторские привязанности в них настолько скрыты, что зритель забывает о том, что миниатюры выполнены рукой человека. Вы помните слова Гуттузо о волнении при вхождении в художественный мир Русудан? Не от соприкосновения ли с совершенной формой возникает это ощущение робости? Именно совершенство формы главенствует в произведениях Ру-

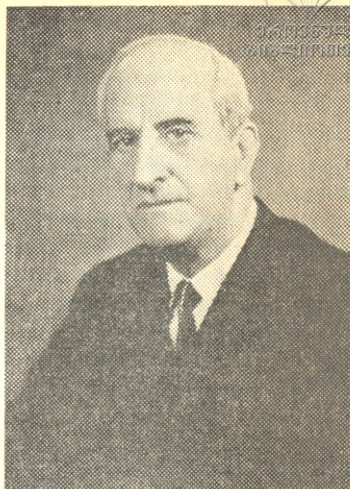
06.03.59
002-1110333

судан, именно совершенство формы удивляет и подчас просто подавляет зрителя. Эмоции как бы украдены у лиц и отданы же-стам. При всей причудливости фигур, при всей гротесковости фи-зиономий именно жест, именно движения несут эмоциональную нагрузку во всех произведениях художницы и подчеркивают своеобразный, музыкальный в своей основе ритм каждой компо-зиции. В произведениях Русудан Петвиашвили очень значителен декоративный элемент. Работает ли художница тушью, применя-ет ли она акварель — одеяния ее персонажей всегда удивитель-но разнообразны и богато украшены. Наряду с тяготением к плос-кости это еще один признак декоративности ее художественного мышления. Декоративные элементы в ее работах настолько раз-нообразны и интересны, что об этом можно было бы говорить особо. И мы отметили эту грань ее таланта, чтобы еще раз под-черкнуть многогранность мастерства тбилисской школьницы.

Произведения Русудан уже экспонировались в Москве. Ны-нешняя выставка — третья за последние четыре года. Ее рабо-ты находятся в постоянной экспозиции музея детского творчест-ва. Они экспонировались на передвижных выставках музея в Киеве, Ленинграде, Ереване, Днепрпетровске и других городах страны...

В книге отзывов выставки было немало размышлений о бу-дущем Русудан. Мы не станем принимать участие в этих гада-ниях. Перед нами работы мастера, и возраст здесь ни при чем. А попытки проанализировать истоки ее творчества мы предприня-ли вовсе не для того, чтобы раскрыть тайну Русудан, а для того, чтобы подтвердить, что эта тайна несомненно есть и что это — тайна искусства.

АЛЕКСАНДР КУТАТЕЛИ



Грузинская советская литература, наша национальная культура понесли тяжелую утрату. Скончался выдающийся грузинский писатель и общественный деятель, один из основоположников Союза писателей Грузии Александр Николаевич Кутатели.

А. Кутатели принадлежал к тому поколению писателей, которое закладывало основы грузинской советской литературы. Литературная деятельность А. Кутатели начинается с 1921 года, сразу же после установления Советской власти в Грузии. С тех пор он систематически сотрудничал в литературных журналах и газетах, публиковал на их страницах свои стихи, рассказы, драмы, переводы.

А. Кутатели — автор многочисленных произведений, запечатлевших наиболее значительные события в жизни Грузии. Их героями являются люди, которые создавали духовные сокровища грузинского народа.

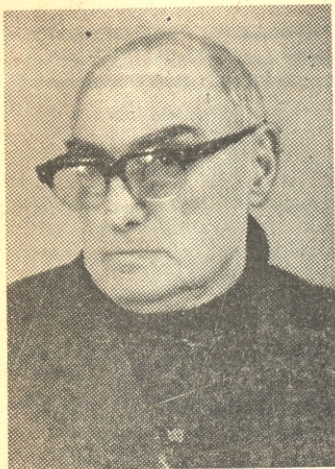
А. Кутатели принадлежит видная роль в развитии грузинской поэзии. В своих стихах он воспевал светлые идеалы нашей великой советской эпохи, дружбу и братство народов.

Плодотворной была деятельность А. Кутатели и в области драматургии. Его комедия «Полночь» еще в 1928 году была поставлена К. Марджанишвили.

Велика заслуга А. Кутатели и в деле художественного перевода. Он перевел на грузинский язык трагедию Эсхила «Прикованный Прометей», «Фауст» Гете, произведения поэтов и прозаиков братских народов Страны Советов.

Всенародное признание принес А. Кутатели его четырехтомный роман-эпопея «Лицом к лицу». Этот роман относится к числу наиболее значительных произведений, положивших начало грузинской советской прозе.

Ушел из жизни большой художник, человек, отдавший всю свою жизнь служению родному народу. Светлая память об А. Кутатели навсегда останется в сердцах благодарных читателей.



ЛАВРОСИЙ КАЛАНДАДЗЕ

Ушел из жизни видный грузинский писатель и критик, член КПСС с 1921 года Лавросий Гигилович Каландадзе.

Ушел на восьмидесятом году жизни, оставив огромное литературно - критическое наследие, отмеченное глубоким и тонким художественным чутьем, публицистической остротой, оригинальностью почерка.

Критические статьи, исследования, монографии Лавросия Каландадзе, посвященные анализу произведений видных грузинских прозаиков и поэтов А. Абашели, Г. Кучишвили, К. Гамсахурдиа, Л. Киачели, П. Яшвили, И. Гришашвили, С. Чиковани, Г. Табидзе, А. Мирцхулава и других, а также проблемам теории литературы и эстетики, снискали широкую популярность среди читателей и сыграли значительную роль в развитии и становлении грузинской советской критики и литературоведения.

В разное время Л. Г. Каландадзе работал учителем в

хидиставской начальной школе, ответственным секретарем Хидиставского райкома партии Озургетского уезда, политруком роты и редактором газеты второй грузинской дивизии, редактором журнала «Ганатлебис мушаки», заместителем директора ГрузТАГа, начальником редакционного управления «Сахелгами», заведующим отделом критики журнала «Мнатоби», литературным консультантом Союза писателей Грузии, ответственным секретарем журнала «Мнатоби», главным редактором издательства «Заря Востока», заместителем главного редактора издательства «Мерани».

В течение ряда лет Л. Г. Каландадзе был членом редколлегии журнала «Литературная Грузия».

Все, кто знал Лавросия Гигиловича, глубоко ценили в нем широкую и разностороннюю эрудицию, щедрость таланта, интеллигентность, скромность, принципиальность, трудолюбие и беззаветную преданность делу.

Светлая память о Лавросии Гигиловиче Каландадзе, замечательном писателе и гражданине, будет жить в сердцах его друзей, грузинских читателей, в его творчестве.

ВСТРЕЧА ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»

МУЗЕЙ дружбы народов Академии наук Грузинской ССР совместно со Всесоюзным и Республиканским обществом «Знание» и Институтом мировой литературы имени А. Горького провел в Тбилиси «круглый стол» на тему «Интернациональный характер советской литературы и искусства», посвященный 60-летию образования СССР.

Во время встречи состоялся серьезный и интересный диалог, касающийся важнейших аспектов современной литературы и искусства, партийности и интернациональности советской литературы, путей развития и взаимосвязей национальных литератур, образа положительного героя.

«Круглый стол» вступительным словом открыл директор Музея дружбы народов АН Грузии, кандидат философских наук Т. Бадурашвили.

В выступлении члена-корреспондента Академии наук СССР Г. Ломидзе было особо подчеркнуто, что тема интернационализма — ведущая в творчестве советских писателей.

На встрече также выступили доктор филологических наук профессор Н. Гей, доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени А. Горького Л. Залеская, профессор И. Богомолов, профессор Н. Шалуташвили.

Сотрудники Музея дружбы народов АН Грузинской ССР М. Джорбенадзе, Н. Геташвили, И. Абесадзе и другие рассматривали соотношение патриотического и интернационального в грузинской литературе, живописи, кино, архитектуре и музыке.

Участники «круглого стола» встретились с лауреатами Государственной премии СССР режиссером Р. Стуруа, писателем Ч. Ампрэджиби, режиссером Г. Лордкипанидзе, которые также приняли участие в дискуссии.

РУСТАВЕЛИ НА ИТАЛЬЯНСКОМ

РИМСКОЕ издательство «Сальваторе Шаши» выпустило бессмертное произведение Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Перевод осуществили известный итальянский писатель, переводчик и критик Марио Пикки и филолог, литературный сотрудник итальянского радио Паоло Анджиолетти.

В 1967 году переводчики посетили Грузию, приобрели огромное количество литературы на грузинском языке и стали изучать язык Руставели. М. Пикки и П. Анджиолетти изучили язык, обработали большое количество материалов, относящихся к прошлому и настоящему Грузии, монографии и статьи о Руставели, переводы «Витязя» на другие языки мира. Многолетний труд

63/122



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Гурам АСАТИАНИ (главный редактор),

Заза АБЗИАНИДЗЕ, Реваз АСАЕВ, Хута ГАГУА, Алексей ГОГУА, Гурам ДОЧАНАШВИЛИ, Эдуард ЕЛИГУЛАШВИЛИ, Марк ЗЛАТКИН, Натела КАРАШВИЛИ (ответственный секретарь), Эмзар КВИТАИШВИЛИ, Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ, Владимир МАЧАВАРИАНИ, Отар НОДИЯ, Лия СТУРУА, Эммануил ФЕЙГИН, Гурам ХАРАИДЗЕ (заместитель главного редактора), Георгий ЦИЦИШВИЛИ.

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отдел прозы — 93-31-43, отдел поэзии и искусств — 93-31-43, отдел критики и литературоведения — 93-65-19, отдел публицистики и очерка — 93-65-19.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

„ლიტერატურნია გრუზია“

— ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და საზოგადოებრივ პოლიტიკური ჟურნალი (რუსულ ენაზე)

ბათუმის 1957 წლის ივნისიდან. № 6 ივნისი, 1982 წ.

Сдано в набор 6.V.82. Подписано к печати 22.V.82 г. Формат 84×108¹/₃₂. УЭ 01249 Высокая печать. Печ. л. 7,0—усл. печ. л. 11,97. Уч-изд. л. 9,4. Тираж 8600 экз. Заказ № 1182. Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон: 99-06-59.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ

Тбилиси, ул. Ленина, 14.

«КНИЖНЫЕ НОВИНКИ»

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

БОБОХИДЗЕ К. Стихи. Пер. с груз. Москва, 1982. 168 с. 20.000 экз. 80 к.

«ЗНАНИЕ»

АМОНАШВИЛИ Ш. «Созидая Человека». Москва, 1982. 95 с. 408.000 экз. 15 к. (Нар. университет. Пед. фак.).

«МЕРАНИ»

БЕКИШВИЛИ Т. «Что помогает зимовать деревьям». Стихи. Пер. с груз. Н. Гениной. Тбилиси, 1982. 50 с. 2.000 экз. 20 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТБИЛИССКОГО УНИВЕРСИТЕТА

«ДРЕВНЕГРУЗИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА V — XVIII вв.». Переводы. Сост. Л. Менабде. Вступит. статья А. Барамидзе. Тбилиси, 1982. 735 с. 2.000 экз. 3 р. 30 к.

«МЕЦНИЕРЕБА»

АНДРОНИКАШВИЛИ Э. «Начинаю с Эльбруса». Творческие портреты ученых. Тбилиси, 1982. 334 с. 4.000 экз. 2 р. 20 к.

65 к

ИНДЕКС 76117

ინფორმაციის
სისტემები

